

ГРАНИ

GRANI

85

1972

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Oktober 1972

Иван Русланов МОЛОДЕЖЬ В РУССКОЙ ИСТОРИИ

Это большая историософская работа, распространяющаяся в СССР Самиздатом. На Западе впервые была напечатана в журнале «Грани». Проанализировав прошлое и настоящее России, автор дает свое видение ее дальнейшего пути к осуществлению синтеза культуры на основе духовно-исторического опыта.

Карманный формат. - 142 стр. - Цена 8.80 н.м.;
в США и Канаде - 2.90 дол.

Л. Ржевский ТВОРЕЦ И ПОДВИГ

(Очерки по творчеству Александра Солженицына)

Автор всесторонне анализирует художественные особенности произведений А. Солженицына, их тематику и идейную направленность, определяя творческий метод писателя как знаменательный реализм.

Большой формат. - Мягкий переплет. - 168 стр.
Цена 13.50 н. м.; в США и Канаде 4.50 дол.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXVII

№ 85

1972 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- МИХАИЛ БУЛГАКОВ — Блаженство (Сон инженера Рейна).
Пьеса в четырех действиях 3
- Из концлагерной поэзии:** Игорь Авдеев, Юрий Домбровский,
И. Пашков, Геннадий Черепов 53
- ВАСИЛИЙ — Смех после полуночи 61

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

- АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Нобелевская лекция 1970
года по литературе 156

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ЛЮДМИЛА ФОСТЕР — «Посещение музея» Набокова в све-
те традиции модернизма 176

ОТКЛИКИ И СООБЩЕНИЯ

- ВЛАДИМИР ОСИПОВ — К читателям Самиздата 188

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ

- МЭРИ ЛЕКОНТ ДЮ НУИ — Пьер Леконт дю Нуи 193

БИБЛИОГРАФИЯ

Б. Литвинов. «Раскольник» или жизнь и дела Никоса Казандзакиса. — Э. Штейн. От «присказки» до «советской России». — О. Можайская. Нержавеющий сосуд. — Д. Руднев. Улитка на склоне. — В. Сладковский. Ваяние в стихах	210
Список книг, поступивших в редакцию	236
Обращение редакции «Г р а н е й»	238
Обращение издательства «П о с е в»	239

Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора, не обязательно выражают мнение редакции.

Не принятые к публикации рукописи редакцией не возвращаются.

© 1972 Copyright by Possev-Verlag,
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Блаженство

(Сон инженера Рейна)

Пьеса в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ РЕЙН, инженер
СОСЕДКА Рейна
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, по прозвищу СОЛИСТ
БУНША-КОРЕЦКИЙ, князь и секретарь домоуправления
ИОАНН ГРОЗНЫЙ, царь
ОПРИЧНИК
СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА
МИХЕЛЬСОН, гражданин
РАДАМАНОВ, Народный Комиссар Изобретений
АВРОРА, его дочь
АННА, его секретарь
САВВИЧ, директор Института Гармонии
ГРАББЕ, профессор медицины
ГОСТЬ
УСЛУЖЛИВЫЙ ГОСТЬ
МИЛИЦИЯ

Действие происходит в разные времена.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Весенний день. Московская квартира. Передняя с телефоном. Большая комната Рейна в полном беспорядке. Рядом комната гражданина Михельсона, обильно мебелированная. В комнате Рейна, на подставке, маленький механизм. Чертежи, инструменты. РЕЙН в промасленной прозодежде, небрит, бессонен, работает у механизма. Время от времени, когда Рейну удастся настроить механизм, в комнате начинают слышаться долетающие издали приятные музыкальные звуки и мягкие шумы.

Рейн. Триста шестьдесят четыре... Опять тот же звук... Но ничего больше...

За стеною вдруг возбужденный голос СОСЕДКИ: «Селедки... Последний день...» Потом глухие голоса, топот ног и стук в двери Рейна.

Ну, ну! Кто там еще?

Соседка (войдя). Софья Петровна! А Софья Петр... Ах, нету ее? Товарищ Рейн, скажите вашей супруге, что в нашем кооперативе по второму талону селедки дают. Чтоб скорее шла. Сегодня последний день.

Рейн. Ничего не могу ей сказать, потому что она еще вчера вечером ушла.

Соседка. А куда ж она пошла?

Рейн. К любовнику.

Соседка. Вот так так! Как же это вы говорите — к любовнику? Это к какому любовнику?

Рейн. Кто его знает. Петр Иванович или Илья Петрович, я не помню. Знаю только, что он в серой шляпе и беспартийный. Такого у нас в доме еще даже и не было.

Соседка. Вот так так. Оригинальный вы человек какой!

Рейн. Простите, я очень занят.

Соседка. Так что ж, селедки теперь пропадут, что ли?

Рейн. Я очень занят.

БЛАЖЕНСТВО

Соседка. А она когда придет от этого, беспартийного-то?

Рейн. Никогда. Она совсем к нему ушла.

Соседка. И вы что же, страдаете?

Рейн. Послушайте, я очень занят.

Соседка. Ну, ну... Вот дела! Пока! *(Скрывается.)*

За стеной глухе голоса; слышно: «К любовнику ушла... се-ледки... последний день...», и потом топот, хлопанье двери и полная тишина.

Рейн. Вот мерзавки какие! *(Обращается к механизму.)* Нет, сначала. Терпение. Выберу весь ряд. *(Работает.)*

Свет постепенно убывает, и, наконец, в комнате Рейна темно. Но всё слышны дальние певучие звуки. Парадная дверь беззвучно открывается, и в переднюю входит ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ, хорошо одетый, похожий на артиста человек.

М и л о с л а в с к и й *(прислушивается у двери Рейна).* Дома. Все люди на работе, а этот дома. Патефон починяет. А где же комната Михельсона? *(У двери Михельсона читает надпись.)* Ах, вот! Сергей Евгеньевич Михельсон. Какой замо́к курьёзный. Наверно, сидит в учреждении и думает, какой чудный замок повесил на свою дверь. Но на самом деле этот замо́к плохой. *(Взламывает замок и входит в комнату Михельсона.)* Прекрасная обстановка. Холостые люди всегда прекрасно живут, я заметил. Э, да у него и телефон отдельный. Большое удобство. Вот первым долгом и нужно ему позвонить. *(По телефону.)* Наркомснаб. Мерси. Добавочный девятьсот. Мерси. Товарища Михельсона. Мерси. *(Несколько изменив голос.)* Товарищ Михельсон? Бонжур. Товарищ Михельсон, вы до конца на службе будете? Угадайте. Артистка. Нет, не знакома, но безумно хочу познакомиться. Так вы до четырех будете? Я вам еще позвоню. Я очень настойчивая. *(Кладет трубку.)* Страшно удивился.

Ну-с, начнем. *(Взламывает письменный стол, выбирает ценные вещи, затем взламывает шкафы, шифоньерки.)* Амфир. Очень аккуратный человек. *(Снимает стенные часы, надевает пальто Михельсона, меряет шляпу.)* Мой номер. Устал. *(Достает из буфета графинчик, закуску, выпивает.)* На чем это он водку настаивает? Прелестная водка! Нет, это не полынь. Уютно у него в комнате. Почитать любит. *(Берет со стола книгу, читает.)* «Богат и славен Кочубей. Его луга необозримы»... Красивые стихи. *(По телефону.)* Наркомснаб. Мерси. Добавочный девятьсот. Мерси. Товарища Михельсона. Мерси. Товарищ Михельсон? Это я опять. На чем вы водку настаиваете? Моя фамилия таинственная. А какой сюрприз вам сегодня выйдет! *(Кладет трубку.)* Страшно удивляется. *(Выпивает.)* Богат и славен Кочубей. Его луга необозримы...

Комната Михельсона угасает, а в комнату Рейна набирается свет. В воздухе вокруг Рейна и механизма начинает возникать слабо мерцающее кольцо.

Рейн. Ага! Светится. Это иное дело.

Стук в дверь.

Ах, чтоб вы провалились, проклятые! Да! *(Тушит кольцо.)*

Входит БУНША-КОРЕЦКИЙ, на голове у него дамская шляпа.

Меня дома нет!

Бунша улыбается.

Нет, серьезно, Святослав Владимирович, я занят. Что это у вас на голове?

Бунша. Головной убор.

Рейн. А вы посмотрите на него.

Бунша *(у зеркала)*. Это я шляпу, значит, у Лидии Васильевны надел.

Рейн. Вы, Святослав Владимирович, рассеянный человек. В ваши годы надо дома сидеть, внуков нянчить, а вы целый день бродите по дому с книгой.

БЛАЖЕНСТВО

Б у н ш а . У меня нет внуков. А если я перестану ходить, то произойдет ужас.

Р е й н . Государство рухнет?

Б у н ш а . Рухнет, если за квартиру не будут платить.

Р е й н . У меня нет денег, Святослав Владимирович.

Б у н ш а . За квартиру нельзя не платить. У нас в доме думают, что можно, а на самом деле нельзя. Я по двору прохожу и содрогаюсь. Все окна раскрыты, все на подоконниках лежат и рассказывают такие вещи, которые рассказывать запрещено.

Р е й н . Вам, князь, лечиться надо.

Б у н ш а . Я уже доказал, Евгений Николаевич, что я не князь, и вы меня не называйте князем.

Р е й н . Вы — князь.

Б у н ш а . Нет, я не князь.

Р е й н . Не понимаю этого упорства. Вы — князь.

Б у н ш а . А я говорю — нет. *(Вынимает бумаги.)* Вот документы, удостоверяющие, что моя мама изменяла папе, и я сын кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея. Потрудитесь прочесть.

Р е й н . Не стóит. Ну, если так, вы — сын кучера, но у меня нет денег.

Б у н ш а . Заклинаю вас, заплатите за квартиру, а то Луковкин говорит, что наш дом на черную доску попадет.

Р е й н . Вчера жена ушла к какому-то Петру Ильичу, потом селедки, потом является эта развалина, не то князь, не то сын кучера, и истязает меня. Меня жена бросила, понятно?

Б у н ш а . Позвольте, что же вы мне-то не заявили?

Р е й н . Почему это вас волнует? Вы на нее какие-нибудь виды имели?

Б у н ш а . Виды такие, что немедленно я должен ее выписать. Куда она выехала?

Р е й н . Я не интересовался.

Б у н ш а . Понятно, что вам не интересно. А мне интересно. Я сам узнаю и выпишу.

Пауза.

Я присяду.

Р е й н . Да незачем вам присаживаться. Как вам объяснить, что меня нельзя тревожить во время этой работы?

Б у н ш а . Нет, вы объясните. Недавно была лекция, и я колоссальную пользу получил. Читали про венерические болезни. Вообще наша жизнь очень интересная и полезная, но у нас в доме этого не понимают. Наш дом вообще очень странный. Михельсон, например, красное дерево покупает, но за квартиру платит туго. А вы машину сделали.

Р е й н . Вы бредите, Святослав Владимирович.

Б у н ш а . Я обращаюсь к вам с мольбой, Евгений Николаевич. Вы насчет вашей машины заявите в милицию. Ее зарегистрировать надо, а то в четырнадцатой квартире уже говорили, что вы такой аппарат строите, чтобы на нем из-под советской власти улететь. А это, знаете, и вы погибнете, и я с вами за компанию.

Р е й н . Какая же сволочь это говорила?

Б у н ш а . Виноват, это моя племянница.

Р е й н . Почему эти чёртовы ведьмы болтают чепуху? Я знаю, это вы виноваты. Вы — старый иуда, шляетесь по всему дому, подглядываете, а потом ябедничаете, да, главное, врете!

Б у н ш а . Я — лицо, занимающее официальный пост, и обязан наблюдать. Меня тревожит эта машина, и я вынужден буду о ней сообщить.

Р е й н . Ради Бога, повремените. Ну, хорошо, идите сюда. Просто-напросто я делаю опыты над изучением времени. Да, впрочем, как я вам объясню, что время есть фикция, что не существует прошедшего и будущего... Как я вам объясню идею о пространстве, которое, например, может иметь пять измерений?.. Одним словом, вдолбите себе в голову только одно, что это

БЛАЖЕНСТВО

совсем безобидно, невредно, ничего не взорвется, и вообще никого не касается! Вот, например, возьмем минус 364, минус. Включим. Минус — прошлое.

Включает механизм, кольцо начинает светиться. Слышен певучий звук.

К сожалению, — всё.

Пауза.

Ах, я идиот! Нет, я не изобретатель, я кретин! Да ведь если шифр обратный, значит, я должен включить плюс! А если плюс, то и цифру наоборот! *(Бросается к механизму, поворачивает какой-то ключ, включает на-ново.)*

В то же мгновение свет в комнате Рейна ослабевает, раздаётся удар колокола, вместо Михельсона комнаты вспыхивает сводчатая палата. ИОАНН ГРОЗНЫЙ с посохом, в черной рясе, сидит и диктует, а под диктовку его пишет ОПРИЧНИК в парчовой одежде, поверх которой накинута ряса. Слышится где-то церковное складное пение и тягучий колокольный звон. Рейн и Бунша замирают.

И о а н ни руководителю...

О п р и ч н и к *(пишет)*. ...и руководителю...

И о а н нк пренебесному селению преподобному игумену Козьме иже...

О п р и ч н и к *(пишет)*. ...Козьме иже...

И о а н н . О Христе с братиею... с братиею царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси...

О п р и ч н и к *(пишет)*. ...всея Руси...

И о а н нчелом бьет.

Р е й н . Ах!

Услышав голос Рейна, Иоанн и Опричник поворачивают головы. Опричник, дико вскрикнув, вскакивает, пятится, крестится и исчезает.

И о а н н *(вскакивает, крестясь и крестя Рейна)*. Сгинь! Увы мне, грешному! Горе мне, окаянному! Скверному душегубцу, ох! Сгинь! Сгинь! *(В иступле-*

нии бросается в комнату Рейна, потом, крестя стены, в переднюю и исчезает.)

Бунша. Вот какую машину вы сделали, Евгений Николаевич!

Рейн. Это Иоанн Грозный! Держите его! Его увидят! Боже мой! Боже мой! (Бросается вслед за Иоанном и исчезает.)

Бунша (бежит к телефону в передней). Дежурного по городу! Секретарь домкома десятого жакта в Банном переулке. У нас физик Рейн без разрешения сделал машину, из которой появился царь! Не я, не я, а физик Рейн! Банный переулок! Да трезвый я, трезвый! Бунша-Корецкий моя фамилия! Снимаю с себя ответственность! Согласен отвечать! Ждем с нетерпением! (Вешает трубку, бежит в комнату Рейна.)

Рейн (вбегая). С чердака на крышу хода нету? Боже мой!

Вдруг за палатой Иоанна затыкал набатный колокол, грянул выстрел, послышались крики: «Гой да! Гой да!» В палату врывается СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА с бердышом в руках.

Голова. Где царь?

Бунша. Не знаю.

Голова (крестясь). А, псы басурманские! Гой да! Гой да! (Взмахивает бердышом.)

Рейн. Чёрт возьми! (Бросается к механизму и выключает его.)

В то же мгновение исчезают и палата и СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА и прекращается шум. Только на месте, где была стенка комнаты Михельсона, остается небольшой провал.

Пауза.

Видали?

Бунша. Как же!

Рейн. Постойте, вы звонили сейчас по телефону?

Бунша. Честное слово, нет!

Рейн. Старая сволочь! Ты звонил сейчас по телефону? Я слышал твой паскудный голос!

Бунша. Вы не имеете права...

Рейн. Если хоть кому-нибудь хоть одно слово!.. Ну, чёрт с вами! Стало быть, на крышу он не выскочит! Боже мой, если его увидят! Он дверь за собой захлопнул на чердак! Какое счастье, что их всех чёрт за селедками унес!

В этот момент из провала — из комнаты Михельсона — появляется встревоженный шумом МИЛОСЛАВСКИЙ с часами
Михельсона под мышкой.

Вот тебе раз!

Милославский. Я извиняюсь, это я куда-то не туда вышел. У вас тут стенка, что ли, провалилась? Виноват. Как пройти на улицу? Прямо? Мерси.

Рейн. Нет! Стойте!

Милославский. Виноват, в чем дело?

Бунша. Михельсоновы часы.

Милославский. Я извиняюсь, какие Михельсоновы? Это мои часы.

Рейн (Бунше). Да ну вас с часами! Очевидно, я не довел до нуля стрелку. Тьфу, чёрт! (Милославскому.) Да вы какой эпохи? Как вас зовут?

Милославский. Юрий Милославский.

Рейн. Не может быть!

Милославский. Извиняюсь, у меня документ есть, только я его на даче оставил.

Рейн. Вы кто такой?

Милославский. А вам зачем? Ну, солист государственных театров.

Рейн. Я ничего не понимаю. Да вы что, нашего времени? Как же вы вышли из аппарата?

Бунша. И пальто Михельсона.

Милославский. Я извиняюсь, какое Михельсона? Что это, у одного Михельсона коверкотовое пальто в Москве?

Рейн. Да ну вас к чёрту с этим пальто! (Смотрит на циферблат механизма.) Ах, ну да! Я на три года не довел стрелку. Будьте добры, станьте здесь, я вас сей-

час отправлю обратно. (*Движет механизм.*) Что за оказия? Заело! Вот так штука! Ах ты, Господи! Этот на чердаке сидит. (*Милославскому.*) Вы не волнуйтесь. Дело вот в чем. Я изобрел механизм времени, и вы попали... Ну, словом, вы не пугайтесь. Я... я сейчас налажу всё это. Дело в том, что время есть фикция...

М и л о с л а в с к и й . Скажите! А мне это и в голову не приходило!

Р е й н . В том-то и дело. Так вот, механизм...

М и л о с л а в с к и й . Богатая вещь! Извиняюсь, это что же, золотой ключик?

Р е й н . Золотой, золотой. Одну минуту, я только отвертку возьму. (*Отворачивается к инструменту.*)

Милославский наклоняется к машине. В то же мгновение вспыхивает кольцо, свет в комнате меняется, поднимается вихрь...

Что такое? Кто тронул машину?

Б у н ш а . Караул!

Вихрь подхватывает Буншу, втаскивает в кольцо, и БУНША исчезает.

М и л о с л а в с к и й . Чтоб тебя чёрт! (*Схватывается за занавеску, обрывает ее и, увлекаемый вихрем, исчезает в кольце.*)

Р е й н . Что же это такое вышло? (*Влетает в кольцо, схватывает механизм.*) Ключ! Ключ! Где же ключ? (*Исчезает вместе с механизмом.*)

Наступает полная тишина в доме. После большой паузы парадная дверь открывается и входит МИХЕЛЬСОН.

М и х е л ь с о н (*у двери в свою комнату*). Батюшки! (*Входит в комнату.*) Батюшки! (*Мечется.*) Батюшки! Батюшки! (*Бросается к телефону.*) Милицию! Милицию! В Банном переулке, десять... Какой царь? Не царь, а обокрали меня! Михельсон моя фамилия! (*Бросает трубку.*) Батюшки!

В этот момент на парадном ходе начинаются энергичные звонки. Михельсон открывает дверь, и входит МИЛИЦИЯ в большом числе.

БЛАЖЕНСТВО

Слава тебе, Господи! Товарищи, да как же быстро вы успели!

М и л и ц и я . Где царь?

М и х е л ь с о н . Какой царь? Обокрали меня! Стенку взломали! Вы только гляньте! Часы, пальто, костюмы! Портсигар! Всё на свете!

М и л и ц и я . Кто звонил насчет царя?

М и х е л ь с о н . Какого такого царя, товарищи? Ограбили! Вы посмотрите!

М и л и ц и я . Без паники, гражданин! Товарищ Сидоров, займите черный ход.

Темно. Та часть Москвы Великой, которая носит название Блаженство. На чудовищной высоте над землей громадная терраса с колоннадой. Мрамор. Сложная, но малозаметная и незнакомая нашему времени аппаратура. За столом, в домашнем костюме, сидит Народный Комиссар Изобретений РАДАМАНОВ и читает. Над Блаженством необъятный воздух, весенний закат.

А н н а (входя). Павел Сергеевич, вы что же это делаете?

Р а д а м а н о в . Читаю.

А н н а . Да вам переодеваться пора. Через четверть часа сигнал.

Р а д а м а н о в (вынув часы). Ага. Аврора прилетела?

А н н а . Да. (Уходит.)

А в р о р а (входя). Да, я здесь. Ну, поздравляю тебя с наступающим Первым мая.

Р а д а м а н о в . Спасибо, и тебя также. Кстати, Саввич звонил мне сегодня девять раз, пока тебя не было.

А в р о р а . Он любит меня, и мне приятно мучить его.

Р а д а м а н о в . Но вы меня не мучьте. Он сегодня ломился в восемь часов утра, спрашивал, не прилетела ли ты.

А в р о р а . Как ты думаешь, папа, осчастливить мне его или нет?

Радаманов. Признаюсь тебе откровенно, мне это безразлично. Но только ты дай ему сегодня хоть какой-нибудь ответ.

Аврора. Папа, ты знаешь, в последнее время я как будто несколько разочаровалась в нем.

Радаманов. Помнится, месяц назад ты стояла у этой колонны и отнимала у меня время, рассказывая о том, как тебе нравится Саввич.

Аврора. Возможно, что мне что-нибудь и помешалось. И теперь я не могу понять, чем он, собственно, меня прельстил? Не то понравились мне его брови, не то он поразил меня своей теорией гармонии. Гармония, папа...

Радаманов. Прости. Если можно, не надо ничего про гармонию, я уже всё слышал от Саввича.

На столе в аппарате вспыхивает голубой свет.

Ну вот, пожалуйста. (В аппарат.) Да, да, да, прилетела.

Свет гаснет.

Он сейчас подыметя. Убедительно прошу, кончайте это дело в ту или другую сторону, а я уйду переодеться. (Уходит.)

Люк раскрывается, и из него появляется САВВИЧ. Он ослепительно одет, во фраке, с цветами в руках.

Саввич. Дорогая Аврора, не удивляйтесь, я только на одну минуту, пока еще нет гостей. Разрешите вам вручить эти цветы.

Аврора. Благодарю вас. Садитесь, Фердинанд.

Саввич. Аврора, я пришел за ответом. Вы сказали, что дадите его сегодня вечером.

Аврора. Ах да, да. Наступает Первое мая. Знаете ли что, отложим наш разговор до полуночи. Я хочу собраться с мыслями.

Саввич. Слушаю. Я готов ждать и до полуночи, хотя и уверен, что ничего не может измениться за эти несколько часов. Поверьте, Аврора, что наш союз не-

БЛАЖЕНСТВО

избежен. Мы — гармоническая пара. О, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вы были счастливы.

А в р о р а . Спасибо, Фердинанд.

С а в в и ч . Итак, разрешите откланяться. Я явлюсь, как только начнется праздник.

А в р о р а . Мы будем рады.

САВВИЧ уходит, РАДАМАНОВ входит, полуодет.

Р а д а м а н о в . Ушёл?

А в р о р а . Ушёл.

Р а д а м а н о в . Ты опять не дала ответа?

А в р о р а . Как всякая интересная женщина, я немного капризна.

Р а д а м а н о в . Извини, но ты совсем не так интересна, как тебе кажется. Что ж ты делаешь с человеком?

А в р о р а . А с другой стороны, конечно, не в бровях сила. Бывают самые ерундовские брови, а человек интересный...

За сценой грохот разбитых стекол. Свет гаснет и вспыхивает, и на террасу влетает БУНША, затем МИЛОСЛАВСКИЙ и, наконец, РЕЙН.

Р е й н . О, Боже!

Б у н ш а . Евгений Николаевич!

М и л о с л а в с к и й . Куда ж это меня занесло?

Р а д а м а н о в . Артисты. Что ж это вы стекла у меня бьёте? О съёмках нужно предупреждать. Это моя квартира.

Р е й н . Где мы? Да ответьте же, где мы?

А в р о р а . В Блаженстве.

Р а д а м а н о в . Простите...

А в р о р а . Погоди, папа. Это карнавальная шутка. Они костюмированы.

Р а д а м а н о в . Во-первых, это раньше времени, а, во-вторых, все-таки стекла в галерее... На одном из них, по-видимому, дамская шляпа. Может быть, это и очень остроумно...

Рейн. Это Москва? (Бросается к паранету, видит город.) Ах! (Оборачивается с безумным лицом, смотрит на светящийся календарь.) Четыре двойки. Две тысячи двести двадцать второй год! Всё понятно. Это двадцать третий век. (Теряет сознание.)

Аврора. Позвольте! Он по-настоящему упал в обморок! Он голову разбил! Отец! Анна! Анна! (Бросается к Рейну.)

АННА вбегает.

Радаманов (по аппарату). Граббе! Поднимитесь ко мне! Да в чем есть! Тут какая-то чертовщина! Голову разбил!

Анна. Кто эти люди?

Аврора. Воды!

Бунша. Он помер?

Открывается люк, вылетает полуодетый ГРАББЕ.

Аврора. Сюда, профессор, сюда!

Граббе приводит в чувство Рейна.

Рейн (очнувшись). Слушайте... Но только верьте... я изобрел механизм для проникновения во время... вот он... поймите мои слова... мы люди двадцатого века!

Темно.

Конец первого действия

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Иллюминированная ночь на той же террасе. Буфет с шампанским. РАДАМАНОВ и РЕЙН во фраках стоят у аппарата. В отдалении САВВИЧ. АННА в бальном платье у аппарата.

Слышна мощная музыка.

Радаманов. Вон, видите, там, где кончается район Блаженства, стеклянные башни. Это — Голубая Вертикаль. Теперь смотрите — поднялся рой огней. Это жители Вертикали летят сюда.

БЛАЖЕНСТВО

Рейн. Да, да.

В аппарате вспыхивает свет.

Анна. Голубая Вертикаль хочет видеть инженера Рейна.

Радаманов. Вы не возражаете?

Рейн. Нет, с удовольствием.

Анна (*в аппарат*). Слушайте! Говорит Народный Комиссар Изобретений Радаманов.

Радаманов (*Рейну*). Сюда, пожалуйста. (*Освещаясь сверху, говорит в аппарат*.) Приветствую Голубую Вертикаль! В день праздника Первого мая!

Мимо террасы летит рой светляков. Свет внезапно сверху заливает Рейна.

Вы хотели видеть Рейна? Вот он перед вами. Гениальный инженер Рейн, человек двадцатого века, пронзивший время! Все сообщения в телеграммах о нем правильны! Вот он! Евгений Рейн!

Донесся гул. Светляки исчезают.

Посмотрите, какое возбуждение вы вызвали в мире.

Аппараты гаснут.

Может быть, вы устали?

Рейн. О нет! Я хочу видеть всё. Нет, кто действительно гениален, это ваш доктор Граббе. Я полон сил. Он вдунул в меня жизнь.

Саввич. Этим лекарством нельзя злоупотреблять.

Радаманов. Вы познакомились?

Рейн. Нет еще.

Радаманов. Саввич, директор Института Гармонии. Инженер Рейн. (*Рейну*.) Так, может быть, вы хотите взглянуть, как танцуют? Анна, займите и проводите гостя.

Анна. С большим удовольствием.

АННА и РЕЙН уходят.

Пауза.

Радаманов. Ну, что вы скажете, милый Фердинанд, по поводу всего этого?

Саввич. Я поражен. Я ничего не понимаю.

Пауза.

Скажите, Павел Сергеевич, какие последствия всё это может иметь?

Радаманов. Дорогой мой, я не пророк. *(Хлопает себя по карманам.)* У вас нет папиросы? В этой суматохе я портсигар куда-то засунул.

Саввич *(похлопав себя по карманам)*. Вообразите, и я забыл свой!

Пауза.

Нет, этого не может быть, Радаманов!

Радаманов. Вот это что-то новенькое. Как же это не может быть того, что есть? Нет, дорогой Фердинанд, нет, мой дорогой поклонник гармонии, примиритесь с этой мыслью. Трое свалились к нам из четвертого измерения. Ну, что ж... Поживем, увидим. Ах, я курить хочу.

ОБА уходят. Слышны аплодисменты, и входит БУНША, а за ним задом, с кем-то раскланиваясь, МИЛОСЛАВСКИЙ. Оба выбриты и во фраках.

Милославский. Очень, очень приятно. Мерси, гран мерси. В другой раз с удовольствием. Мерси. *(Бунше.)* Понравилась мы им.

Бунша. Всё это довольно странно. Социализм вовсе не для того, чтобы веселиться. А они бал устроили. И произносят такие вещи, что ого-го-го... Но самое главное — фраки. Ох, прописали бы им ижицу за эти фраки!

Милославский. Если в тебя взглядеться, то сразу разочаровываешься. Это кто же им пропишет?

Входит ГОСТЬ во фраке.

Гость. Я понимаю, что вы ищете уединения, и сию минуту уйду. Мне только хотелось пожать руку спутникам великого Рейна.

БЛАЖЕНСТВО

М и л о с л а в с к и й . Очень, очень приятно. Мерси, граң мерси. Милославский Юрий. А это секретарь. А вы из каких будете?

Г о с т ь . Я мастер московской водонапорной станции.

М и л о с л а в с к и й . Очень приятно. Вы тоже трудящийся человек. Да что там... эти рукопожатия всякие... давайте поцелуемся.

Г о с т ь . Я буду счастлив и польщен.

Милославский обнимает гостя.

Не забуду этой минуты. *(Хочет обнять Буншу.)*

М и л о с л а в с к и й . С ним не обязательно. Это секретарь...

Г о с т ь . Желаю вам всего, всего хорошего.

ГОСТЬ удаляется.

М и л о с л а в с к и й . Приятный народ. Простой, без претензий, доверчивый.

Б у н ш а . Надел бы фрак, да на общее собрание пришел бы! Вот бы я посмотрел! Какого он происхождения, интересно бы знать?

М и л о с л а в с к и й . Ты перестань гудеть мне в ухо. Ничего не даешь сообразить.

Б у н ш а . Я уже всё сообразил и даже с вами могу поделиться своими соображениями. И одного я не понимаю, откуда у вас появились точно такие часы, как у Михельсона. У меня возникают кое-какие подозрения. *(Подходит к столу, на котором лежат вещи, принесенные из XX века: часы, занавеска, дамская шляпа.)* Вот и надпись выцарапана: «Михельсон».

М и л о с л а в с к и й . Это я выцарапал «Михельсон».

Б у н ш а . Зачем же чужую фамилию выцарапывать?

М и л о с л а в с к и й . Потому что она мне понравилась. Это красивая фамилия. Пожалуйста, сцарапываю и выцарапываю новую: «Милославский». Это вас успокаивает?

Б у н ш а . Нет, не успокаивает. Всё равно я подозреваю.

М и л о с л а в с к и й . О, Господи! Тоска какая! На что мне, обеспеченному человеку, Михельсоновы посредственные часы? Вот часы так часы! (*Вынимает из кармана часы.*)

Б у н ш а . У товарища Радаманова точно такие часы... и буква «Р»...

М и л о с л а в с к и й . Ну вот видишь.

Б у н ш а . А на каком основании вы мне «ты» говорите?

М и л о с л а в с к и й . Можешь и мне говорить «ты».

А н н а (*входит*). Не скучаете ли вы одни? Выпьемте шампанского.

М и л о с л а в с к и й . Покорнейше благодарю. Простите, мадемуазель, за нескромный вопрос, нельзя ли нам спиртику выпить в виде исключения?

А н н а . Спирту? Вы пьете спирт?

М и л о с л а в с к и й . Кто же откажется?

А н н а . Ах, это интересно. У нас, к сожалению, его не подают. Но вот кран. По нему течет чистый спирт.

М и л о с л а в с к и й . Ах, как у вас комнаты оборудованы! Бунша, бокальчик!

А н н а . А неужели он не жжётся?

М и л о с л а в с к и й . А вы попробуйте. Бунша, бокальчик даме.

А н н а (*выпив*). Ой!

М и л о с л а в с к и й . Закусывайте, закусывайте.

В это время входит смущенный ГОСТЬ и, стараясь не помешать, что-то ищет под столом.

Что ищете, отец?

Г о с т ь . Простите, я где-то обронил медальон с цепочкой...

М и л о с л а в с к и й . Э-э, это жалко.

БЛАЖЕНСТВО

Г о с т ь. Простите, посмотрю еще в бальном зале.
(Уходит.)

М и л о с л а в с к и й. Славные у вас люди. За ваше здоровье. Еще бокальчик.

А н н а. А я не опьянею?

М и л о с л а в с к и й. От спирту-то? Что вы. Вы только закусывайте. Князь, мировой папшет.

Б у н ш а. Я же рассказывал тебе про Пантелея.

М и л о с л а в с к и й. Да ну тебя к чёрту с твоим Пантелеем! Всё равно им, кто вы такой. Происхождение не играет роли.

Б у н ш а (Анне). Позвольте, товарищ, навести у вас справочку. Вы в каком профсоюзе состоите?

А н н а. Простите, я не понимаю.

Б у н ш а. То есть, чтобы иначе выразиться, вы куда взносы делаете?

А н н а. Тоже не понимаю. (Смеется.)

М и л о с л а в с к и й. Ты меня срамишь. Ты бы еще про милицию спросил. Ничего у них этого нет.

Б у н ш а. Милиции нет? Ну, это ты выдумал. А где же нас пропишут?

А н н а. Простите, что я улыбаюсь, но я ни одного слова не понимаю из того, что вы говорите. Вы кем были в прошлой жизни?

Б у н ш а. Я секретарь домоуправления в нашем жакте.

А н н а. А... а... вы что делали в этой должности?

Б у н ш а. Я карточками занимался, товарищ.

А н н а. А-а. Интересная работа? Как вы проводили ваш день?

Б у н ш а. Очень интересно. Утром встаешь, чаю напьешься. Жена — в кооператив, а я сажусь карточки писать. Первым делом смотрю, не умер ли кто в доме. Умер — значит, я немедленно его карточки лишаю.

А н н а (хохочет). Ничего не понимаю.

М и л о с л а в с к и й. Позвольте, я объясню. Ут-

ром встанет, начнет карточки писать, живых запишет, мертвых выкинет. Потом на руки раздаст; неделя пройдет, отберет их, новые напишет, опять раздаст, потом опять отберет, опять напишет...

А н н а (*хохочет*). Вы шутите! Ведь так можно с ума сойти!

М и л о с л а в с к и й . Он и сошел!

А н н а . У меня голова закружилась. Я пьяна. А вы сказали, что от спирта нельзя опьянеть.

М и л о с л а в с к и й . Разрешите, я вас за талию поддержу.

А н н а . Пожалуйста. У вас несколько странный в наше время, но, по-видимому, рыцарский подход к женщине. Скажите, вы были помощником Рейна?

М и л о с л а в с к и й . Не столько помощником, сколько, так сказать, его интимный друг. Даже, собственно, не его, а соседа его, Михельсона. Я случайно проезжал в трамвае, дай, думаю, зайду. Женя мне и говорит...

А н н а . Рейн?

М и л о с л а в с к и й . Рейн, Рейн... Слетаем, что ли... Я говорю: а что ж, не всё ли равно... (*Бунше.*) Помолчи минутку. И вот-с, пожалуйста, такая история... Разрешите вам руку поцеловать...

А н н а . Пожалуйста. Я обожаю смелых людей.

М и л о с л а в с к и й . При нашей работе нам нельзя несмелым быть. Оробеешь, а потом лет пять каяться будешь.

Входит РАДАМАНОВ.

Р а д а м а н о в . Анна, голубчик, я в суматохе где-то свои часы потерял.

М и л о с л а в с к и й . Не видел.

А н н а . Я потом поищу.

Б у н ш а . Товарищ Радаманов...

Р а д а м а н о в . А?

Б у н ш а . Товарищ Радаманов, я хотел вам свои документы сдать.

БЛАЖЕНСТВО

Радаманов. Какие документы?

Бунша. Для прописки, а то ведь мы на балу веселимся непрописанные. Считаю долгом предупредить.

Радаманов. Простите, дорогой, не понимаю... Разрешите потом... *(Уходит.)*

Бунша. Совершенно расхлябанный аппарат. Ни у кого толку не добьешься.

Входит ГРАББЕ.

Граббе. А, наконец-то я вас нашел! Радаманов беспокоится, не устали ли вы после полета? *(Анне.)* Простите, на одну минуточку. *(Наклоняется к груди Милославского, выслушивает сердце.)* Вы пили что-нибудь?

Милославский. Лимонад.

Граббе. Ну, всё в порядке. *(Бунше.)* А вы?

Бунша. У меня, товарищ доктор, поясница болит по вечерам, а стул очень затруднённый.

Граббе. Поправим, поправим. Позвольте-ка пульсик. А где ж часы-то мои? Неужели выронил?

Милославский. Наверно, выронили.

Граббе. Ну, неважно, всего доброго. В пальто, что ли, я их оставил?.. *(Уходит.)*

Анна. Что это все с часами как с ума сошли?

Милославский. Обхохочешься! Эпидемия!

Бунша *(Милославскому, тихо).* Часы Михельсона — раз, товарища Радаманова — два, данный необъяснимый случай... подозрения мои растут...

Милославский. Надоел. *(Анне.)* Пройдемся?

Анна. Я на ногах не стою из-за вашего спирта.

Милославский. А вы опирайтесь на меня. *(Бунше, тихо.)* Ты бы пошел в другое место. Иди и там веселись самостоятельно. И что ты за мной таскаешься?

ВСЕ ТРОЕ уходят. Входит РЕЙН и АВРОРА. Рейн идет, схватившись за голову.

Аврора. Дорогой Евгений Николаевич, да где же он-то?

Рейн. Одно из двух: или он остался на чердаке, или его уже схватили. И вернее всего, что он сейчас уже сидит в психиатрической лечебнице. Вы знаете, я как только вспомню о нем, прихожу в ужас. Да... да... Несомненно его уже взяла милиция, и воображаю, что там происходит! Но, впрочем, сейчас говорить об этом совершенно бесполезно. Всё равно ничего не исправишь.

Аврора. Вы не тревожьте себя, а выпейте вина.

Рейн. Совершенно верно. (Пьет.) Да, история...

Аврора. Я смотрю на вас и не могу отвести глаз. Но вы-то отдаете себе отчет в том, что вы за человек? Милый, дорогой Рейн, когда вы восстановите свою машину?

Рейн. Ох, знаете, там у меня катастрофа. Я важную деталь потерял. Ну, впрочем, это выяснится...

Пауза.

Аврора. Скажите, ну, а у вас была личная жизнь? Вы были женаты?

Рейн. Как же.

Аврора. Что ж теперь с вашей женой?

Рейн. Она убежала от меня.

Аврора. От вас? К кому?

Рейн. К какому-то Семену Петровичу, я не знаю точно...

Аврора. А почему она вас бросила?

Рейн. Я очень обнищал из-за этой машины, и нечем было даже платить за квартиру.

Аврора. Ага... ага... А вы...

Рейн. Что?

Аврора. Нет, ничего, ничего.

Бьет полночь. Из бальных зал донесся гул. В то же время открывается люк и появляется САВВИЧ.

Полночь. Ах, вот мой жених.

Рейн. А!

Аврора. Ведь вы знакомы?

БЛАЖЕНСТВО

С а в в и ч . Да, я имею удовольствие.

А в р о р а . Вы хотите со мной поговорить, Фердинанд, не правда ли?

С а в в и ч . Если позволите. Я явился в полночь, как вы назначили.

Р е й н . Пожалуйста, пожалуйста, я... *(Встает.)*

А в р о р а . Не уходите далеко, Рейн, у нас только несколько слов. РЕЙН выходит.

Милый Фердинанд, вы за ответом?

С а в в и ч . Да.

А в р о р а . Не сердитесь на меня и забудьте меня. Я не могу быть вашей женой.

Пауза.

С а в в и ч . Аврора... Аврора! Этого не может быть... Что вы делаете? Мы были рождены друг для друга!

А в р о р а . Нет, Фердинанд, это грустная ошибка. Мы не рождены друг для друга.

С а в в и ч . Скажите мне только одно: что-нибудь случилось?

А в р о р а . Ничего не случилось. Просто я разглядела себя и вижу, что я не ваш человек. Поверьте мне, Фердинанд, вы ошиблись, считая нас гармонической парой.

С а в в и ч . Я верю в то, что вы одумаетесь, Аврора. Институт Гармонии не ошибается, и я вам это докажу! *(Уходит.)*

А в р о р а . Вот до чего верит в гармонию! *(Зовет.)* Рейн! РЕЙН входит.

Извините меня, пожалуйста; вот мой разговор и кончен. Налейте мне, пожалуйста, вина. Пойдемте в зал. *(Уходят.)*

М и л о с л а в с к и й *(входит задом)*. Нет, мерси. Гран мерси. *(Покашливает.)* Не в голосе я сегодня. Право, не в голосе. Покорнейшее, покорнейшее благодарю.

А н н а (*вбегает*). Если вы прочтете, я вас поцелую.
 М и л о с л а в с к и й . Принимаю ваши условия.
 (*Подставляет лицо.*)

А н н а . Когда прочтете. А про спирт вы наврали — он страшно пьяный.

М и л о с л а в с к и й . Я извиняюсь...

Р а д а м а н о в (*входит*). Я вас очень прошу — сделайте мне одолжение, прочтите что-нибудь моим гостям...

М и л о с л а в с к и й . Да ведь, Павел Сергеевич... я ведь только стихи читаю. А репертуара, как говорится, у меня нету.

Р а д а м а н о в . Стихи? Вот и превосходно. Я, признаться вам, в стихах ничего не смыслю, но уверен, что они всем доставят большое наслаждение.

А н н а . Пожалуйста к аппарату. Мы вас передадим во все залы.

М и л о с л а в с к и й . Застенчив я, вот горе...

А н н а . Непохоже.

Милославского освещают.

(*В аппарат.*) Внимание! Сейчас артист XX века Юрий Милославский прочтет стихи.

Аплодисменты в аппарате.

Чьи стихи вы будете читать?

М и л о с л а в с к и й . Чьи, вы говорите? Собственного сочинения.

Аплодисменты в аппарате. В это время входит ГОСТЬ, очень мрачен. Смотрит на пол.

Богат... и славен... Кочубей... Мда... Его поля... необозримы!

А н н а . Дальше!

М и л о с л а в с к и й . Конец!

Некоторое недоуменное молчание, потом аплодисменты.

Р а д а м а н о в . Bravo! Bravo!.. Спасибо вам!

М и л о с л а в с к и й . Хорошие стишки?

Р а д а м а н о в . Да какие-то коротенькие уж очень.

БЛАЖЕНСТВО

Впрочем, я отношу это к достоинству стиха. У нас почему-то длиннее пишут.

М и л о с л а в с к и й . Ну, простите, что не угодил...

Р а д а м а н о в . Что вы, что вы... Повторяю вам, я ничего не понимаю в поэзии. Вы вызвали восторг, послушайте, как вам аплодируют.

Крики в аппарате: «Милославского! Юрия!»

А н н а . Идемте кланяться.

М и л о с л а в с к и й . К чему это?.. Застенчив я...

А н н а . Идемте, идемте.

АННА и МИЛОСЛАВСКИЙ уходят, и тотчас доносится бурная овация.

Р а д а м а н о в (Гостю). Что с вами, дорогой мой? Вам нездоровится?

Г о с т ь . Нет, так, пустяки.

Р а д а м а н о в . Выпейте шампанского. (Уходит.)

Г о с т ь (выпив в одиночестве три бокала, некоторое время ползает по полу, ищет что-то). Стихи какие-то дурацкие. Не поймешь, кто этот Кочубей... Противно пишет... (Уходит.)

Убегают УСЛУЖЛИВЫЙ ГОСТЬ, зажигает свет в аппарате.

У с л у ж л и в ы й г о с т ь . Филармония? Будьте добры, найдите сейчас же пластинку под названием «Аллилуйя» и дайте ее нам, в бальный зал Радаманова. Артист Милославский ничего другого не танцует... Молитва? Одна минута... (Убегают, возвращается.) Нет, не молитва, а танец. Конец двадцатых годов двадцатого века.

В аппарате слышно начало «Аллилуйя».

(Убегают и через некоторое время возвращается.) Это! (Убегают.)

РЕЙН и АВРОРА входят.

А в р о р а . Никого нет. Очень хорошо. Я устала от толпы.

Р е й н . Проводить вас в ваши комнаты?

А в р о р а . Нет, мне хочется быть с вами.

Рейн. Что вы сказали вашему жениху?

Аврора. Это вас не касается.

Рейн. Что вы сказали вашему жениху?

Аврора внезапно обнимает и целует Рейна. В то же время в дверях появляется БУНША.

Как вы всегда входите, Святослав Владимирович!

БУНША скрывается. Вбегает УСЛУЖЛИВЫЙ ГОСТЬ.

Услужливый гость (говорит в аппарат). Громче! Гораздо громче! (Убегает, потом возвращается, говорит в аппарат.) Говорит, с колоколами! Дайте колокола! (Убегает, потом возвращается, говорит в аппарат.) И пушечную стрельбу! (Убегает.)

Слышны громовые звуки «Аллилуйя» с пальбой и колоколами. (Возвращается.) Так держать! (Убегает.)

Рейн. Что он, с ума сошел! (Убегает с Авророй.)

Темно.

Конец второго действия

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же терраса. Раннее утро. РЕЙН в своей прозодежде у механизма. Встревожен, что-то вспоминает. Появляется тихонько АВРОРА и молча смотрит, как он работает.

Рейн. Нет, не могу вспомнить и не вспомню никогда...

Аврора. Рейн!

Рейн оборачивается.

Не мучь себя, отдохни.

Рейн. Аврора!

Целуются.

Аврора. Сознавайся, ты опять не спал всю ночь?

Рейн. Ну, не спал.

БЛАЖЕНСТВО

А в р о р а . Не смей работать по ночам. Ты переутомишься, потеряешь память и ничего не добьешься. Мне самой уже — я просыпалась сегодня три раза — всё время снятся цифры, цифры, цифры...

Р е й н . Тсс... Мне показалось, что кто-то ходит...

А в р о р а . Кто может придти без сигнала?

Пауза.

Ты знаешь, я одержима мыслью, что мы с тобой улетим. И как только я подумаю об этом, у меня кружится голова... Я хочу опасностей, полетов! Рейн, ты понимаешь ли, какой ты человек!

В аппарате свет.

Отец. Его сигнал. Летим куда-нибудь! Тебе надо отдохнуть!

Р е й н . Я должен переодеться.

А в р о р а . Вздор! Летим!

Уходят ОБА. РАДАМАНОВ входит, останавливается около механизма Рейна, долго смотрит на него, потом садится за стол, звонит.

А н н а (входит). Добрый день, Павел Сергеевич!

Р а д а м а н о в . Ну-с.

А н н а . Нету, Павел Сергеевич.

Р а д а м а н о в . То есть, как нет? Это уже из области чудес.

А н н а . Павел Сергеевич, бюро потерь искало.

Р а д а м а н о в . Бюро здесь решительно ни при чем. И часы, и портсигар были у меня в кармане.

А н н а . Поверьте, Павел Сергеевич, что мне так неприятно!

Р а д а м а н о в . Ну, если неприятно, то чёрт с ними! И не ищите, пожалуйста, больше! (Анна идет.) Да, кстати, как поживает этот Юрий Милославский?

А н н а . Я не знаю, Павел Сергеевич. А почему вы вспомнили его?

Р а д а м а н о в . Вот и я не знаю. Но почему-то только вспомню про часы, так сейчас же вспоминаются

его стихи про этого, как его... Кочубея... Что это, хорошие стихи, да?

А н н а . Они, конечно, древние стихи, но хорошие. И он великолепно читает, Павел Сергеевич!

Р а д а м а н о в . Ну, тем лучше. Ладно.

АННА уходит. Радаманов погружается в работу. На столе вспыхивает сигнал, но Радаманов не замечает его. САВВИЧ входит, молча останавливается и смотрит на Радаманова. Радаманов некоторое время читает, не замечая его, машинально берет за карман.

Богат и славен... (*Видит Саввича.*) А-а!

С а в в и ч . Я вам звонил. Вход к вам свободен.

Р а д а м а н о в . Я не заметил. Прошу садиться.

Пауза.

Вы что же, помолчать ко мне пришли?

С а в в и ч . Нет, Радаманов, — говорить...

Р а д а м а н о в . О-хо-хо... Согласитесь, дорогой Фердинанд, что я не виноват в том, что я ее отец... и... будем считать вопрос исчерпанным. Давайте кофейку выпьем.

С а в в и ч . Бойтесь этих трех, которые прилетели сюда!

Р а д а м а н о в . Что это вы меня с утра пугаете?

С а в в и ч . Бойтесь этих трех!

Р а д а м а н о в . Что вы хотите, мой дорогой? Скажите пояснее.

С а в в и ч . Я хочу, чтобы они улетели отсюда в преисподнюю!

Р а д а м а н о в . Все единогласно утверждают, что преисподней не существует, Фердинанд. И, кроме того, всё это очень не просто, и даже, милый мой, наоборот...

С а в в и ч . То есть, чтобы они остались здесь?

Р а д а м а н о в . Именно так.

С а в в и ч . Ах, понял. Я понимаю значение этого прибора. Ваш комиссариат может заботиться о том, чтобы сохранить это изобретение для нашего века, а

БЛАЖЕНСТВО

Институт Гармонии должен позаботиться о том, чтобы эти трое — чужие нам — не нарушили жизни в Блаженстве! И об этом позабочусь я! А они ее нарушат, это я вам предсказываю! Я уберегу от них наших людей и, прежде всего, уберегу ту, которую считаю лучшим украшением Блаженства — Аврору! Вы мало ее цените! Прощайте! *(Уходит.)*

Радаманов. О-хо-хо... Да, дела... *(Звонит.)*

Входит АННА.

Анна, закройте все сигналы, чтобы ко мне никто не входил.

Анна. Да. *(Уходит.)*

Через несколько минут появляется БУНША и молча садится на то место, где сидел Саввич.

Радаманов *(подняв голову)*. Вот тебе раз! Дорогой мой, что же вы не дали сигнал прежде чем подняться?

Бунша. Очень удобный аппарат, но сколько ни дергал...

Радаманов. Да зачем же его дергать? Просто-напросто он закрыт.

Бунша. Ага.

Радаманов. Итак, чем я вам могу быть полезен?

Бунша *(подает бумагу)*. Я к вам с жалобой, товарищ Радаманов.

Радаманов. Прежде всего, Святослав Владимирович, не надо бумаг. У нас они не приняты, как я вам уже говорил пять раз. Мы их всячески избегаем. Скажите на словах. Это проще, скорее, удобнее. Итак, на что вы жалуетесь?

Бунша. Жалуюсь на Институт Гармонии.

Радаманов. Чем он вас огорчил?

Бунша. Я хочу жениться.

Радаманов. На ком?

Бунша. На ком угодно.

Радаманов. Впервые слышу такой ответ. А...

Бунша. А Институт Гармонии обязан мне невесту подыскать.

Радаманов. Помилосердствуйте, драгоценный мой! Институт не сваха. Институт изучает род человеческий, заботится о чистоте его, стремится создать идеальный подбор людей, но вмешивается он в брачные дела лишь в крайних случаях, когда они могут угрожать каким-нибудь вредом нашему обществу.

Бунша. А общество ваше бесклассовое?

Радаманов. Вы угадали сразу — бесклассовое.

Бунша. Во всем мире?

Радаманов. Решительно во всем.

Пауза.

Вам что-то не нравится в моих словах?

Бунша. Не нравится. Слышится в ваших словах, товарищ Радаманов, какой-то уклон.

Радаманов. Объясните мне, я не понимаю, что значит уклон?

Бунша. Я вам как-нибудь в выходной день объясню про уклон, Павел Сергеевич, так вы очень задумаетесь и будете осторожны в ваших теориях.

Радаманов. Я буду вам признателен, но вернемся к вашему вопросу. Невесту вы должны подыскать себе сами, а уж если Институт поставит вам какие-нибудь препятствия как человеку новому, то тут и потолкуем.

Бунша. Павел Сергеевич, в наш переходный период я знал, как объясняться с дамами. А в бесклассовом обществе...

Радаманов. Совершенно так же, как и в классовом.

Бунша. А вы как бы ей сказали?

Радаманов. Я, голубчик, ни за какие деньги ничего бы ей не сказал, ибо, давно овдовев, не чувствую склонности к семейной жизни. Но если б такая блажь мне пришла в голову, то сказал бы что-нибудь вроде

БЛАЖЕНСТВО

этого: я полюбил вас с первого взгляда... по-видимому, и я вам нравлюсь... Простите, больше беседовать не могу, меня ждут на заседании. Знаете что, поговорите с Анной или Авророй, они лучше меня... Всего доброго. *(Уходит.)*

Б у н ш а . Не бюрократ. Свой парень. Таких надо беречь да беречь. *(Садится за стол Радаманова, звонит.)*

А н н а *(входит)*. Да, Павел Сер... Это вы звонили?

Б у н ш а . Я.

А н н а . Оригинально. Вам что-нибудь угодно мне сказать?

Б у н ш а . Да. Я полюбил вас с первого взгляда.

А н н а . Мне очень лестно, я очень тронута, но, к сожалению, мое сердце занято. *(Кладет бумагу на стол.)*

Б у н ш а . Не надо никаких бумаг, как я уже много раз говорил. Скажите на словах. Это скорее, удобнее и проще. Вы отказываете мне?

А н н а . Отказываю.

Б у н ш а . Вы свободны.

А н н а . В жизни не видела ничего подобного.

Б у н ш а . Не будем терять времени. Вы свободны.

АННА уходит.

Первый блин комом.

Входит Аврора.

А в р о р а . Отец! Ах, это вы? А отца нет?

Б у н ш а . Нет. Присядьте, мадемуазель Радаманова. Увидев вас, я полюбил вас с первого взгляда. Есть основания полагать, что и я вам нравлюсь. *(Целует Аврору в щеку.)*

А в р о р а *(хлопнув его по щеке)*. Дурак! *(Уходит.)*

Б у н ш а . Вы зарываетесь, Аврора Павловна! Но ничего! Мы ударим по рукам зарвавшегося члена общества!

Входит САВВИЧ.

Вот кстати.

С а в в и ч . Павла Сергеевича нет?

Б у н ш а . Нет. На пару слов.

Саввич. Да.

Бунша. Я полюбил вас с первого взгляда.

Саввич. Это что значит?!

Бунша. Это вот что значит. *(Вынимает из кармана записочку и таинственно читает.)* Директору Института Гармонии. Первого мая сего года, в половине первого ночи Аврора Радаманова целовалась с физиком Рейном. С тем же физиком она целовалась третьего мая у колонны. Сего числа в восемь часов утра означенная Аврора целовалась с тем же физиком у аппарата, причем произнесла нижеследующие слова: Мы с тобой улетим...

Саввич. Довольно! Я не нуждаюсь в ваших сообщениях! *(Выхватывает у Бунши бумажку, рвет ее, затем быстро уходит.)*

Бунша. Вот, будет знать Аврора Павловна, как по щекам хлестать секретарей домкомов.

Милославский *(за сценой)*. Болван здесь?

Бунша. Меня разыскивает.

Милославский *(входит)*. А-а, ты здесь. Скучно мне, Святослав. Хочешь, я тебе часы подарю? Но при одном условии: строжайший секрет, ни при ком не вынимать, никому не показывать.

Бунша. А как же я время буду узнавать?

Милославский. Они не для этого. Просто на память, как сувенир. Ты какие предпочитаешь — открытые или глухие?

Бунша. Глухие.

Милославский. Получай.

Бунша. Большое спасибо. Но, извиняюсь, здесь буква «Х», а мои инициалы «С. В. Б.»

Милославский. Без капризов. У меня — не магазин. Прячь.

Входит Рейн.

Рейн. Вы почему здесь? Вас же повезли Индию осматривать.

Милославский. Ничего интересного там нет.

Рейн. Да вы в ней и пяти минут не пробыли.

Милославский. Мы и одной минуты в ней не пробыли.

Рейн. Так какого же чёрта вы говорите, что неинтересно?

Милославский. В аэроплане рассказывали.

Бунша. Полное однообразие.

Рейн. Вы-то бы уж помолчали, Святослав Владимирович! Большим разнообразием вы пользовались в вашем домкоме. Ну, хорошо, мне некогда. *(Направляется к своему механизму.)* Слушайте, вы собираетесь у меня над душой стоять? Я так работать не могу. Отправляйтесь в какое-нибудь другое место, если вам не нравится Индия.

Милославский. Академик! Женя! Что ж это с вашей машиной? Вы будьте любезны доставить нас на то место, откуда вы нас взяли.

Рейн. Я не шофер.

Милославский. Э-э-х!

Рейн. Вы — жертвы случая. Произошла катастрофа. Я же не виноват, что вы оказались у Михельсона в комнате. Да, впрочем, почему катастрофа? Миллионы людей мечтают о том, чтобы их перенесли в такую жизнь. Неужели вам здесь не нравится?

Милославский. Миллиону нравится, а мне не нравится. Нету мне применения здесь!

Рейн. Да что вы рассказываете? Почему не читаете ваших стихов? За вами ходят, вам смотрят в рот! Но никто от вас ничего не слышал, кроме этого осточертевшего Кочубея!

Милославский. Э-э-х! *(Выпивает спирту из крапа, потом разбивает стакан.)*

Рейн. Что это за хамство!

Милославский. Драгоценный академик! Шевельните мозгами! Почините вашу машинку и летим отсюда назад! Трамваи сейчас в Москве ходят! Народ суетится! Весело! В Большом театре сейчас утренник.

В буфете давка! Там сейчас антракт! Мне там надо быть! Тоскую я! *(Становится на колени.)*

Б у н ш а *(тоже становится на колени)*. Евгений Николаевич! Меня милиция сейчас разыскивает на всех парусах. Ведь я без разрешения отлучился. Я — эмигрант. Увезите меня обратно!

Р е й н. Да ну вас к чёрту. Прекратите вы этот цирк! Поймите, что тут беда случилась. Ключ выско-чил из машины! С шифром ключ! А я без него не могу пустить машину.

М и л о с л а в с к и й. Что? Ключ, говорите? Это золотой ключик?

Р е й н. Именно золотой ключик.

М и л о с л а в с к и й. Что же ты молчал две неде-ли? *(Обнимает Рейна.)* Ура! Ура! Ура!

Р е й н. Отвяжитесь вы от меня! На нем двадцать цифр, я их вспомнить не могу.

М и л о с л а в с к и й. Да чего же их вспоминать, когда у вас ключ в кармане в прозодежде!

Р е й н. Там его нет. *(Шарит в карманах, вынимает ключ.)* Что такое? Ничего не понимаю. Это волшебство!

Б у н ш а. Цепь моих подозрений скоро замкнется.

Р е й н. Аврора! Аврора!

АВРОРА входит.

А в р о р а. Что? Что такое?

Р е й н *(показывает)*. Ключ!

А в р о р а. У меня подкосились ноги!.. Где он был?

Р е й н. Не понимаю... В кармане...

А в р о р а. В кармане! В кармане!

М и л о с л а в с к и й. Летим немедленно!

Р е й н. Виноват, мне нужны сутки, чтобыотрегулировать машину. А если вы будете метаться у меня перед глазами, то и больше. Пожалуйста, уходите оба.

М и л о с л а в с к и й. Уходим, уходим. Только уж вы, пожалуйста, работайте, а не отвлекайтесь в сто-рону.

БЛАЖЕНСТВО

Рейн. Попрошу вас не делать мне указаний.

Аврора (*Милославскому*). И никому ни слова, что найден ключ.

Милославский. Будьте покойны, ни-ни-ни... (*Бунше.*) Следуй за мной и чтоб молчать у меня! (*Уходит с Буншей.*)

Рейн. Ключ! Аврора, ключ! (*Обнимает ее.*)

Милославский (*выглянув*). Я же просил вас, Женечка, не отвлекаться... Пардон, мадемуазель. Ушёл, ушёл, ушёл... Проверил только и ушёл.

Темно.

Та же терраса. РЕЙН и АВРОРА у механизма. Рейн регулирует его, и время от времени начинает мерцать кольцо.

Рейн. Слышишь?

Аврора. Гудит.

В аппарате вспыхивает сигнал. Рейн тушит кольцо, прячет ключ в карман.

Тсс... Это отец. (*Уходит.*)

Входит РАДАМАНОВ.

Радаманов. Здравствуйте, Рейн. Извините, что я прерву вашу работу, но у меня дело исключительной важности.

Рейн. Я к вашим услугам.

Радаманов. Я только что с заседания, которое было посвящено вам.

Рейн. Слушаю.

Радаманов. И вот что мне поручили передать вам. Мы постановили считать, что ваше изобретение — сверхгосударственной важности. А вас, автора этого изобретения, решено поставить в исключительные условия. Все ваши потребности и все ваши желания будут удовлетворяться полностью, независимо от того, чего бы вы ни пожелали. К этому нечего добавлять, кроме того, что я поздравляю вас!

Рейн. Да, все... я польщен...

Радаманов. Признаюсь вам, я ожидал боль-

шего. На вашем месте я бы ответил так: я благодарю государство и прошу принять мое изобретение в дар.

Рейн. Как? Вы хотите, чтоб я отдал свою машину?

Радаманов. Прошу вас помыслить: могло бы быть иначе?

Рейн. А! Я начинаю понимать! Скажите, если я восстановлю свою машину...

Радаманов. В чем, кстати говоря, я не сомневаюсь.

Рейн. ...мне дадут возможность совершать на ней мои полёты самостоятельно?

Радаманов. С нами, с нами, о, гениальный инженер Рейн!

Рейн. Народный Комиссар Изобретений! Мне всё ясно! Прошу вас, вот мой механизм, возьмите его, но предупреждаю вас, что я лягу на диван и шагу не сделаю к нему, пока возле него будет хоть один контролер.

Радаманов. Не поверю, не поверю. Если вы это сделаете, вы умрете в самый короткий срок.

Рейн. Вы, что же, перестанете меня кормить?

Радаманов. Поистине, вы сын иного века. Такого, как вы, не кормить? Ешьте сколько угодно. Но настанет момент, когда еда не пойдет вам в рот и вы закахнете. Человек, совершивший то, что совершили вы, не может лечь на диван.

Рейн. Эта машина принадлежит мне.

Радаманов. Какая ветхая, но интересная древность говорит вашими устами! Она принадлежала бы вам, Рейн, если б вы были единственным человеком на земле. Но сейчас она принадлежит всем.

Рейн. Позвольте! Я человек моей эпохи, я прошу отпустить меня, я ваш случайный гость!

Радаманов. Дорогой мой! Я безумцем назвал бы того, кто бы это сделал! И никакая эпоха не отпустила бы вас и не отпустит, поверьте мне!

Рейн. Я не понимаю, зачем вам понадобилась эта машина?

Радаманов. Вы не понимаете? Не верится мне. Вы не производите впечатления неразвитого человека. Первый же поворот винта закончился тем, что сейчас там, в той Москве, мечется этот... как его... Василий Грозный... он в девятнадцатом веке жил?

Рейн. Он жил в шестнадцатом, и его звали Иван.

Радаманов. Прошу прощения, я плоховато знаю историю. Это специальность Авроры. И так, там вы оставили после себя кутерьму. Затем вы кинетесь, может быть, в двадцать шестой век... И кто, кроме Саввича, который уверен, что в двадцать шестом будет непременно лучше, чем у нас, в двадцать третьем, поручится, что именно вы там встретите? Кто знает, кого вы притащите к нам из этой загадочной дали на ваших же плечах? Но это не всё. Вы представляете себе, какую пользу мы принесем, когда проникнем в иные времена? Ваша машина бьет на четыреста лет, вы говорите?

Рейн. Примерно да.

Радаманов. Стало быть, она бьет по бесконечности. И, быть может, ещё при нашей с вами жизни мы увидим замерзающую землю и потухающее над ней солнце! Это изобретение принадлежит всем! Они все живут сейчас, а я им служу! О, Рейн!

Рейн. Я понял. Я пленник. Вы не отпустите меня. Но мне интересно, как вы осуществите контроль надо мной? Ведь не милиционера же вы приставите ко мне?

Радаманов. Единственный милиционер, которого вы можете увидеть у нас, стоит под стеклом в музее в Голубой Вертикали, и стоит уже с лишком сто лет. Кстати, ваш приятель Милославский вчера, говорят, сильно выпивши, посетил музей и проливал слезы умиления возле этого шкафа. Ну, у всякого свой вкус... Нет, дорогой мой, ваш мозг слишком развит, чтобы вас

учить с азов! Мы просим вас сдать нам изобретение добровольно. Откажитесь от своего века, станьте нашим гражданином! А государство приглашает вас с нами совершить все полеты, которые мы совершим. Руку, Рейн!

Рейн. Я сдаю машину, вы убедили меня.

Радаманов (*жмет руку Рейну, открывает шкаф*). Один ключ от шкафа будет храниться у меня, другой постановлено вручить Саввичу. Он выбран вторым контролером. С завтрашнего дня я дам вам специалистов по восстановлению памяти, и в три дня вы найдете ваш шифр, я вам ручаюсь.

Рейн. Подождите закрывать, Радаманов. Специалисты мне не нужны. Ключ с шифром нашелся, вот он. Я завтра могу пустить механизм в ход.

Радаманов. Уважаю вас, Рейн. Руку. (*Берет ключ.*)

Аврора (*вбегает*). Сию минуту отдай ключ мне! Ты что наделал! Я так и знала, что тебе нужна нянька!

Радаманов. Ты с ума сошла? Ты подслушала нас?

Аврора. Всё до последнего слова. Расстаться с моим мечтанием увидеть всё, что мы должны были увидеть!.. Ну, так имей, отец, в виду, что Рейн не полетит без меня! Правда, Рейн?

Рейн. Правда.

Аврора. Это мой муж, отец! Имей в виду это! Мы любим друг друга!

Радаманов (*Рейну*). Вы стали ее мужем? Я на вашем месте сильно бы задумался перед тем, как сделать это. Впрочем, это ваше частное дело. (*Авроре.*) Попрошу тебя, перестань кричать.

Аврора. Нет, я не перестану!

Рейн. Павел Сергеевич, вы мне сказали, что мои желания будут исполняться?

Радаманов. Да, я это сказал. А раз я сказал, я могу это повторить.

БЛАЖЕНСТВО

Рейн. Так вот, я желаю, чтобы Аврора летала со мной.

Аврора. Вот это по-мужски!

Радаманов. И она полетит с вами.

Аврора. Требууй, чтобы первый полет был в твою жизнь! Я хочу видеть твою комнату! И потом подайте мне Ивана Грозного.

Радаманов. Она полетит с вами. Но раньше, чем с нею летать, я бы на вашем месте справился, каков у нее характер.

Аврора. Сию минуту замолчи.

Радаманов. Нет, ты замолчи, я еще не кончил. *(Вынимает футляр.)* Мы просим вас принять этот хронометр. На нем надпись: «Инженеру Рейну — Совет Народных Комиссаров Мира». *(Открывает футляр.)* Позвольте! Куда же он девался? Я показывал его только Милославскому, и он еще хлопал в ладоши от восторга. Нет, это слишком!

На столе вспыхивает сигнал, открывается люк и появляется САВВИЧ.

Саввич. Я прибыл, как условлено.

Радаманов. Да. Вот механизм. А вот ключ. Он нашелся. Прошу вас, закрывайте.

Саввич. Значит, машина пойдет в ход?

Радаманов. Да. *(Закрывают шкаф.)*

Аврора *(Саввичу)*. Фердинанд, Рейн — мой муж, и имейте в виду, что я совершу полеты с ним.

Саввич. Нет, Аврора. Это будет еще не скоро. Слушайте постановление Института. На основании исследования мозга этих трех лиц, которые прилетели из двадцатого века, Институт постановил изолировать их на год для лечения, потому что, Радаманов, они опасны для нашего общества. И имейте в виду, что все пропажи последнего времени объяснены. Вещи похищены этой компанией. Эти люди неполноценны. Аврора и Рейн, мы разлучаем вас.

А в р о р а . Ах вот как! Отец, полюбуйся на директора Института Гармонии! Посмотри-ка на него! Он в бешенстве, потому что потерял меня!

С а в в и ч . Аврора, не оскорбляйте меня. Я исполнил свой долг. Он не может жить в Блаженстве!

Р е й н (Саввичу). Что вы сказали насчет пропаж?
(Схватывает со стола пресс-папье.)

Р а д а м а н о в . Рейн! Положите пресс-папье! Я приказываю вам! (Саввичу.) Мне надоел ваш Институт Гармонии! И я вам убедительно докажу, что он мне надоел.

Р е й н . Радаманов! Я жалею, что отдал ключ!

С а в в и ч . Прощайте! (Опускается в люк.)

Р а д а м а н о в . Рейн, ждите меня и успокойтесь. Я беру это на себя. (Уходит.)

А в р о р а (бежит за ними). Отец!.. Скажи им, что...
(Исчезает.)

Р е й н (один). Ах, вот как... вот как...

Входят МИЛОСЛАВСКИЙ и БУНША.

М и л о с л а в с к и й . Ну что, профессор, готова машина?

Р е й н . Сию минуту подать сюда хронометр!

М и л о с л а в с к и й . Хронометр? Это который с надписью? Так вот он, на столе лежит. Вот он...

Б у н ш а . Вот теперь мои подозрения перешли в уверенность.

Р е й н . Оба вон! И если встретите Саввича, скажите ему, чтобы он остерегался попасться мне на дороге!

Темно.

Конец третьего действия

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Тот же день. Та же площадка.

А н н а . Милый Жорж, я так страдаю за вас! Может быть, я чем-нибудь могу облегчить ваши переживания?

М и л о с л а в с к и й . Можете. Стукните кирпичом вашего вредного Саввича по башке!

А н н а . Какие образные у вас выражения, Жорж!

М и л о с л а в с к и й . Это не образные выражения. Настоящих образных вы еще не слышали. Эх, выругаться бы сейчас, может быть, легче бы стало!

А н н а . Так ругайтесь, Жорж!

М и л о с л а в с к и й . Вы думаете? Ах ты!.. Нет, не буду. Неудобно как-то здесь. Приличная обстановка...

А н н а . Жорж, я не верю в то, что вы преступник.

М и л о с л а в с к и й . Кто же этому поверит?

А н н а . О, как вы мне нравитесь, Жорж!

М и л о с л а в с к и й . Я всем женщинам нравлюсь.

А н н а . Какая жестокость.

М и л о с л а в с к и й . Анеточка, вы бы лучше пошли бы послушать, что они там говорят на заседании.

А н н а . На что ты меня толкаешь!

М и л о с л а в с к и й . Ну, как хочешь... Пускай погибну я, но прежде я в ослепительной надежде...

А н н а . Твои стихи?

М и л о с л а в с к и й . Мои.

А н н а . Я иду.

АННА уходит. БУНША входит.

М и л о с л а в с к и й . Подслушал?

Б у н ш а . Не удалось! Я на колонну влез, но меня заметили.

М и л о с л а в с к и й . Осел какой!

Б у н ш а . Я и сам в отчаянии.

Пауза.

Г р а б б е . Можно войти?

М и л о с л а в с к и й . А-а, доктор! Милости просим. Что скажете, доктор, хорошенького?

Г р а б б е . Да, к сожалению, хорошенького мало. Институт поручил мне, во-первых, ознакомить вас с нашими исследованиями, а, во-вторых, принять вас на лечение. *(Вручает Милославскому и Бунше по конверту.)*

М и л о с л а в с к и й . Мерси. *(Читает.)* Одолжите ваше пенсне на минуточку, я здесь одно слово не разберу.

Г р а б б е . Пожалуйста.

М и л о с л а в с к и й . Это... что означает... клептомания?

Г р а б б е . Болезненное влечение к воровству.

М и л о с л а в с к и й . Ага. Благодарю вас. Мерси.

Б у н ш а . И я попрошу пенсне одолжить. Это что такое — деменция?

Г р а б б е . Слабоумие.

Бунша возвращает пенсне.

М и л о с л а в с к и й . Мерси от имени обоих. Это какой же гад дал исследование?

Г р а б б е . Извините, это мировая знаменитость — профессор Мерфи в Лондоне.

М и л о с л а в с к и й *(по аппарату)*. Лондон. Мерси. Профессор Мерфи. Мерси.

В аппарате голос: «Вам нужен переводчик?»

Нет, не нужен. Профессор Мерфи? Вы не профессор Мерфи, а паразит. *(Закрывает сигнал.)*

Г р а б б е . Что вы делаете?

М и л о с л а в с к и й . Молчать! Три раза мне палец снимали и отпечатывали: в Москве, в Ленинграде и в Ростове-на-Дону, и все начальники уголовного розыска единодушно сказали, что человек с таким пальцем не может украсть. И вдруг является какой-то фельдшер, коновал...

БЛАЖЕНСТВО

Г р а б б е . Одумайтесь. Бунша, повлияйте на вашего приятеля...

Б у н ш а . Молчать!

Г р а б б е (по аппарату). Саввич!

САВВИЧ появляется.

Я отказываюсь их лечить. Передайте их какому-нибудь другому врачу. (Уходит.)

С а в в и ч (Милославскому). Вы оскорбили профессора Граббе? Ну, смотрите, вам придется раскаяться в этом!

М и л о с л а в с к и й . Я оскорбил? Это он меня оскорбил! А равно также лучшего моего друга, Святослава Владимировича Бунша-Корецкого, бывшего князя и секретаря! Это что за слово такое — клептомания? Я вас спрашиваю, что это за слово такое — клептомания?!

С а в в и ч . Попрошу вас не кричать!

М и л о с л а в с к и й . Я шёпотом говорю! Это что такое — клептомания?

С а в в и ч . Ах, вы не знаете? Клептомания — это вот что. Это когда в Блаженстве вдруг начинают пропадать одна за другой золотые вещи... Вот что такое клептомания! Скажите, пожалуйста, вам не попадался мой портсигар?

М и л о с л а в с к и й . Маленький, золотой, наискосок буква «С»?

С а в в и ч . Вот, вот именно!

М и л о с л а в с к и й . Не попадался.

С а в в и ч . Куда же он девался!

М и л о с л а в с к и й . Запирать надо, молодой человек, портсигары. А то вы их расшвыриваете по столам, людей в грех вводите! А им потом из-за вас страдать приходится! Гляньте на этот палец! Может ли человек с этим пальцем что-нибудь украсть? Вы понимаете, что такое наука — дактилоскопия? Ах, не дочитали? Вы только клептоманию выучили. Когда мой палец рассматривали в МУРе, из всех отделов сбежались смотреть! Не может этот палец коснуться ничего

чужого! На тебе твой портсигар! Подавись им! Да!
(Швыряет портсигар Саввичу.)

С а в в и ч . Хорошую компанию привез в Блаженство инженер Рейн! И в то время, когда этот человек попадает с чужой вещью, Радаманов по доброте своей пытается вас защитить! Нет, этого не будет! Вы сами ухудшили свое положение! (Уходит.)

Б у н ш а . Я думал, что он успокоится от твоей речи, а он еще больше раздражился.

Вбегают РЕЙН и АВРОРА.

Евгений Николаевич! Меня кровно оскорбили.

Р е й н . Попрошу вас замолчать. Мне некогда слушать вашу ерунду. Выйдите на минутку отсюда, я должен посоветоваться с Авророй.

Б у н ш а . Такие оскорбления смываются только кровью.

Р е й н . Уходите оба!

БУНША и МИЛОСЛАВСКИЙ уходят.

Ну, Аврора, говори, у нас мало времени.

А в р о р а . Надо бежать!

Р е й н . Как? Обмануть Радаманова? Я дал ему слово!

А в р о р а . Бежим! Я не позволю, чтобы они распорядились тобой! Я ненавижу Саввича!

Р е й н . Да! Ну, думай, Аврора, я даю тебе несколько секунд всего! Тебе придется покинуть Блаженство и, вероятно, навсегда! Ты больше не вернешься сюда!

А в р о р а . Мне надоели эти колонны, мне надоел Саввич, мне надоело Блаженство! Я никогда не испытывала опасности, я не знаю, что у нее за вкус! Летим!

Р е й н . Куда?

А в р о р а . К тебе!

Р е й н . Милославский!

МИЛОСЛАВСКИЙ и БУНША появляются.

М и л о с л а в с к и й . Я!

БЛАЖЕНСТВО

Рейн. Чтоб сейчас здесь были ключи от шкафа! Один — в кармане у Радаманова, другой — у Саввича!

Милославский. Женя! С этим пальцем человек украсть не...

Рейн. Ах, человек не может! Ну, оставайся в лечебнице!

Милославский. ...украсть на заседании не может, потому что его туда не пустят. Но он может открыть любой шкаф.

Рейн. Болван! Этот шкаф закрыт тройным шифром!

Милославский. Кухонным замком такие шкафы и не закрывают. Вы, Женечка, сами болван. Бунша, на стрёму! Впустишь кого-нибудь — убью! (Рейну.) Благоволите перочинный ножичек. (Берет нож у Рейна и вскрывает первый замок.)

Аврора (Рейну). Ты видел?

Милославский. Бунша, спишь на часах? Голову оторву! (Открывает шкаф настежь.)

Анна (вбегает). Они постановили... Что ты делаешь?

Милославский. Это отпадает, что они постановили!

Анна. Ты безумен! Это государственный секретный шкаф! Значит, они говорили правду! Ты преступник!

Милославский. Анюта, ша!

Рейн вынимает из шкафа механизм и настраивает его.

Анна. Аврора, останови их! Образумь их!

Аврора. Я бегу вместе с ними.

Милославский. Анюточка, едем со мной!

Анна. Нет, нет! Я боюсь! Это страшное преступление!

Милославский. Ну, как знаешь. На суде держись смело! Вали всё на одного меня! И что б судья ни спросил, говори только одну формулу — была пьяна, ничего не помню! Тебе скидку дадут!

А н н а . Я не могу этого видеть! *(Убегает.)*

М и л о с л а в с к и й *(вслед)*. Если будет мальчик — назови его Жоржем! В честь меня! Бунша! Складывайся!

Р е й н . Не смейте брать ничего из шкафа!

М и л о с л а в с к и й . Ну нет! Один летательный аппаратик я прихватчу!

В этот момент начались тревожные сигналы. Вдали послышались голоса. И падает стальная стена, которая отрезает путь с площадки.

Р е й н . Что это?

А в р о р а . Скорей! Это тревога! Шкаф дал сигнал! Скорей!

Вспыхивает кольцо вокруг механизма, и послышался взрыв музыки.

М и л о с л а в с к и й . Большой театр! К последнему действию поспеем!

Б у н ш а *(схватив часы Михельсона, бросается к механизму)*. Я — лицо официальное, я первый!

М и л о с л а в с к и й . Чёрт с тобой!

Р е й н . По одному. *(Включает механизм.)*

Поднимается вихрь, свет на мгновение гаснет и БУНША исчезает.

М и л о с л а в с к и й . Анюта! Вспоминай меня! *(Исчезает.)*

Люк раскрывается и поднимается САВВИЧ.

С а в в и ч . Ах вот что! Тревога! Тревога! Они взломали шкаф! Они бегут! Радаманов! *(Бросается, пытается помешать, схватывает Аврору за руку.)*

Р е й н *(выхватывает из шкафа автоматический пистолет, стреляет в воздух. Саввич выпускает Аврору)*. Саввич! Я уже предупредил вас, чтобы вы не попадались мне на дороге! Одно движение — и я вас застрелю!

С а в в и ч . Это гнусное насилие! Я безоружен! Аврора!

БЛАЖЕНСТВО

А в р о р а . Я вас ненавижу!

Открывается другой люк, появляется РАДАМАНОВ.

С а в в и ч . Радаманов! Берегитесь! Здесь убийца!
Он вас застрелит!

Р а д а м а н о в . Я не боюсь.

С а в в и ч . Я не могу задержать его, он вооружен!

Р а д а м а н о в . Стало быть, и не нужно его задерживать. *(Рейну, указав на кассу.)* Как же так, инженер Рейн?

Р е й н *(указав на Саввича)*. Вот кого поблагодарите. *(Вынимает хронометр.)* Вот хронометр. Милославский отдал мне его! Возвращаю вам его, Павел Сергеевич! Я не имею на него права. Прощайте! Мы никогда не увидимся!

Р а д а м а н о в . Кто знает, кто знает, инженер Рейн!

Р е й н . Прощайте!

А в р о р а . Отец! Прощай!

Р а д а м а н о в . До свидания! Супруги Рейн! Когда вам наскучат ваши полёты, возвращайтесь к нам!

Радаманов нажимает кнопку, и стальная стена уходит вверх, открывая колоннаду и воздух Блаженства. Рейн бросает пистолет, включает механизм. Взрыв музыки. РЕЙН схватывает с собой механизм и исчезает вместе с АВРОРОЙ. Сцена в темноте.

С а в в и ч . Радаманов! Что мне делать? Они улетели!

Р а д а м а н о в . Это ваша вина! И вы ответите за это, Саввич!

С а в в и ч . Аврора, вернись!

Темно.

Комната Рейна. Тот же день и час, когда наши герои вылетали в Блаженство. На сцене расстроенный МИХЕЛЬСОН и МИЛИЦИЯ.

Пишут протокол.

М и л и ц и я . На кого же имеете подозрение, гражданин?

Михельсон. На всех. Весь дом — воры, мошенники и контрреволюционеры.

Милиция. Вот так дом!

Михельсон. Берите всех! Прямо по списку! А флигель во дворе — так тот тоже с преступниками сверху донизу.

Милиция. Без паники, гражданин! (Смотрит список.) Кто у вас тут проживает, стало быть? Бунша-Корецкий?

Михельсон. Вор!

Милиция. Инженер Рейн?

Михельсон. Вор!

Милиция. Гражданка Подрезкова?

Михельсон. Вор!

Милиция. Гражданин Михельсон?

Михельсон. Это я — пострадавший. Берите всех, кроме меня.

Милиция. Без паники.

Внезапно — вихрь, свет гаснет и вспыхивает. Является БУНША с часами Михельсона в руках.

Михельсон. Вот он! Хватайте его, товарищи! Мои часы!

Бунша. Товарищи! Добровольно вернувшийся к исполнению своих обязанностей секретарь Бунша-Корецкий прибыл. Прошу занести в протокол — добровольно. Я спас ваши часы, уважаемый товарищ Михельсон.

Милиция (Бунше). Вы откуда взялись? Вы задержаны, гражданин.

Бунша. С наслаждением предаю себя в руки родной милиции и делаю важное заявление: на чердаке...

Свет гаснет. Гром и музыка. Является МИЛОСЛАВСКИЙ.

Михельсон. Товарищи, мое пальто!

Милославский (внезапно вскакивает на подоконник, распахивает окно, срывает с себя пальто Ми-

хельсона). Получите ваше пальто, гражданин Михельсон, и отнесите его на барахолку! Надел его я временно! Также получите и ваши карманные часы и папиросницу! Вы не видели, какие папиросницы и пальто бывают! Украсть же я ничего не могу! Гляньте на этот палец. Бунша, прощай! Пиши в Ростов!

Михельсон. Держите его!

Бунша. Жоржик! Отдайся в руки милиции вместе со мной и чистосердечно раскайся!

Милославский. Гран мерси! Оревуар! *(Разворачивает летательный аппарат. Улетает.)*

Бунша. Улетел! Товарищи! На чердаке...

Милиция. Ваше слово впоследствии!

Музыка, свет гаснет, являются РЕЙН и АВРОРА.

Михельсон. Вот тоже из их шайки!

Рейн. Гражданин Михельсон! Вы — болван! Аврора, успокойся, ничего не бойся!

Аврора. Кто эти люди в шлемах?

Рейн. Это милиция. *(Милиции.)* Я — инженер Рейн. Я изобрел механизм времени и только что был в будущем. Эта женщина — моя жена. Прошу быть поосторожнее с ней, чтобы ее не напугать.

Михельсон. Меня обокрали, и их же еще не пугать!

Милиция. С вашим делом, гражданин, повремените. Это из этого аппарата царь появился?

Бунша. Из этого, из этого. Это я звонил! Он на чердаке сейчас сидит, я же говорил!

Милиция. Товарищ Мостовой! Товарищ Жудилов!

Движение. Открывается дверь на чердак, потом все отшатываются. В состоянии тихого помешательства идет ИОАНН. Увидев всех, крестится.

Иоанн. О, беда претягчайшая!.. Господие и отцы, молю вас, исполу есмь чернец...

Пауза.

М и х е л ь с о н . Товарищи! Берите его! Ничего не надо глядеть!

И о а н н (*мутно поглядев на Михельсона*). Собака! Смертный прыщ!

М и х е л ь с о н . Ах, я же еще и прыщ!

А в р о р а (*Рейну*). Боже, как интересно! Что же с ним сделают? Отправь его обратно. Он сошел с ума.

Р е й н . Да. (*Включает механизм.*)

В этот же момент грянул набат. Возникла сводчатая палата Иоанна. По ней мечется СТРЕЛЕЦКИЙ ГОЛОВА.

Г о л о в а . Стрельцы! Гей сотник! Гой да! Где царь?

И о а н н . Господи! Господи! (*Бросается в палату.*)

Рейн выключает механизм и в то же мгновение исчезает палата, ИОАНН и ГОЛОВА.

М и л и ц и я (*Рейну*). Вы арестованы, гражданин. Следуйте за нами.

Р е й н . С удовольствием. Аврора, не бойся ничего.

Б у н ш а . Не бойтесь, Аврора Павловна, милиция у нас добрая.

М и х е л ь с о н . Позвольте, товарищи, а дело о моей краже?

М и л и ц и я . Ваша кража временно отпадает, гражданин. Тут поважнее кражи!

МИЛИЦИЯ уводит РЕЙНА, АВРОРУ и БУНШУ.

М и х е л ь с о н (*один, после некоторого отупения*). Часы, папиросница тут, пальто... Всё тут...

Пауза.

Вот, товарищи, что у нас произошло в Банном переулке. А ведь расскажи я на службе или знакомым, — ведь не поверят, нипочем не поверят!

Темно.

К О Н Е Ц

Из концлагерной поэзии

Помещаемые ниже стихотворения, переданные для публикации в нашем журнале, были написаны заключенными советских концлагерей. Часть из них оформлялась даже как первый Самиздат на спецтюремном режиме в Потьме. Так, например, поэт Игорь Авдеев, записав свои стихотворения в простую учебную тетрадку, написал на ней: «Хранить вечно» (этим грифом, как известно, снабжаются все личные дела политических заключенных в СССР). *Стихотворения*. Поселок Ударное. 1961. Сдано в набор 20/XI 1961 г. Подписано к печати 20/XI 1961 г. Тетр. лист 1. Тираж 1 экземпляр. Заказ особый. Адрес типографии: Камера № 25. Цена: цены не имеет. Издательство: «Самоиздат». Затем над стихами поставлен Авдеевым следующий эпиграф:

«Искусство существует для того, чтобы мы не погибли от Истины. Фридрих Вильгельм Ницше».

Р е д.

Игорь Авдеев

Зеркальные стрелы.
Тихо. Осенняя свежесть.
И желтые листья,
И небо, странно просветлевшее —
Синяя пристань.

Зеркальные капли.
Воздух прозрачно чист осенней грустью.
Цветочный ветер.
Соты красного золота. Крыло улетающей птицы.
Печаль согрета.

Зеркальные струи.
Голос далеко-далеко.
Серебряные нити.
Солнце, которому хочется спать.
Стволы забытий.

Зеркальные тени.
Душа, вымытая до последнего уголка.
Поблекшие сосны.
Сонные мухи. Закричать. Спросить. Просто молчать.
Осень.

Написано в спецтюрьме.

АПОКАЛИПСИС

Мы ползли по пещерам,
В темных норах искали,
Мы не видели Солнца —
В землю лбы.

А на Севере встали,
Улыбаясь крестами,
Вверх ушедшие, в Небо,
Голубые столбы.

И в последней пещере,
За седьмою печатью,
Разорвали мы вены
И нашли —

На коленях склонились,
Вверх глаза мы подняли,
Пламя — всё Голубое —
Королю поднесли.

Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.

Мы ползли по болотам,
Погружались в трясину,
Уходили всё глубже —
Нету дна.

А на светлом Востоке
Встала грустью одета
Вся зеленая, в ветрах,
Молодая звезда.

И в последнем болоте,
В осоке, между тинной,
Задохнулись мы грязью
И нашли —

На коленях склонились,
Вверх глаза не подняли,
Всё Зеленое Пламя
Королю поднесли.

Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.

Мы ползли по пустыням,
Гнались за миражами,
В обожженные веки —
Уплывала река.

А на Юге далеко
Вечер крылья раскинул,
Встал, как вечность, налитый
Красной кровью закат.

И в последней пустыне
Пересохшими ртами
Захватили песок мы
И нашли —

На коленях склонились,
Вверх глаза не подняли,
Пламя Красного цвета
Королю поднесли.

Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.

Мы ползли по дорогам,
Проползали сквозь горы,
Мы скрывались под воду —
Нет конца.

А на Западе всадник
Встал огромный навстречу,
Машет знаменем желтым,
Без лица.

И в последней дороге
Повстречались со Смертью,
Ей в лицо мы взглянули
И нашли —

На коленях склонились,
Вверх глаза не подняли,
В Желтом Венчике Пламя
Королю поднесли.

Но Король отвернулся,
Только брови нахмурил,
И ведуньи взмахнули
Рукавами одежд.

И тогда закричали,
И сдавили мы сердце,
И увидели Солнце —
Белоснежную Рысь...

Но Король улыбнулся
И поднялся над тронном,
И запели все Трубы,
Уносящие ввысь.

Мы летели над небом,
Улетали ракеты,
Уходила над морем
Опустевшая жизнь.

В серой дымке лежала,
Становилась далекой,
Обнажив свои груди,
Наша Мать-Земля.

А забытый мышонок
Стал на задние лапки
И смотрел долго-долго...
В водородную даль.

Юрий Домбровский

**
*

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Мать Божия, Богородица,
Непорочная Дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Руку маленькую подает.

А за сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
«Поглядите вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уводится
Неугодного небу зверья!
Вы неправы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!»

Но идут и идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта.

Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят херувимы печальные,
Золотые прищутив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса.

И глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверье,
Я шепчу: «Ты права, Богородица,
Да прославится имя Твое!»

Это стихотворение написано было в связи с амнистией уголовников в 1953 году. Ю. Домбровский — автор повести «Хранитель древностей», первая часть которой была опубликована в журнале «Новый мир» №№ 7 и 8 за 1964 г. Затем она была переведена и издана на многих европейских языках. После освобождения из концлагеря Ю. Домбровский отбывал ссылку в Алма-Ате. Теперь живет в Москве.

**
*

Хорошо стоять Василием Блаженным,
 Пить небес предутреннюю грусть!
 Я молюсь, собор, твоим нетленным стенам,
 Я цветам на куполах молюсь!
 Красота какая! Исполать!
 Только вдруг ложатся тени,
 Глаз твоих скрывая бирюзу.
 Тяжело. Я выроню слезу. —
 Может, ты мне самый близкий
 Из живущих на земле людей?
 Под ногами выложен булыжник,
 Будто обнаженными сердцами
 К храму на поклон иду...
 Звуки брызжут из расплавленного дня
 И текут куда-то синим руслом,
 А куда, — мне не легко понять.
 Далеко земле до совершенства —
 Ноет грустью переполненная грудь...
 Тяжело стоять Василием Блаженным,
 Понимать душою обнаженной
 Горем стиснутую Русь...

Дубровлаг

Геннадий Черепов

СОНЕТ К ВЫХОДЯЩИМ

Ибрагиму

Свобода действия. Иной свободы нет.
Как жаждущим вода, покой усталым снится:
Глаза слепы от слёз, пусты пороховницы,
Кисть ослабевшая не держит пистолет.

Рабы сомнения, по бездорожью лет
Они бредут в себя, когда вокруг зарницы.
Не им среди племен дано остановиться,
Послав, как голубя, из рук открытых свет.

Прочтя пророчества, пройдя сквозь все потери,
В тюремных камерах духовно возмужав
И ощутив в себе пульс мировых артерий,
Мы вышли к этим дней великим рубежам.
Еще рывок и — в бой! чтоб дописали перья
Последние стихи к последним мятежам!

Смех после полуночи

И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя.

И он сделал то, что всем — малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам — положено будет начертание на правую руку их или на чело их..

Откровение, гл. XIII, 15-16.

Любезный соотечественник, не без волнения решаюсь я издать эту книгу, но волнение мое не того рода, какое испытывает начинающий писатель, жаждущий славы и признания.

Более десяти лет я записывал впечатления и суждения по разным поводам; избранная часть их составила книгу. Конечно, будь я писателем, я придал бы накопленным наблюдениям форму повести, снабдил бы занимательным сюжетом, разнообразил бы сельскими и городскими пейзажами. Мне не дано этого дара, но ведь и нисколько не пострадает искренность чувств и помышлений, чем я очень дорожу.

Что же побуждает меня издать книгу? Это будет первый в моей жизни поступок по своей воле, приводящий к нравственному самоопределению; да, я взволнован, ибо, решившись на него, я родился вполне, почувствовав впервые жизненную необходимость соединения разума и воли. Теперь я могу сказать: я знаю радость осуществления гармонии души и сердца живого человека, и меня не миновало ощущение цельности бытия смертного.

**ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
САМИЗДАТ, 1971 г.**

Слышу — что-то бренчит на улице. Подошел к окну, а это, оказывается, Смерть по двору идет с косою и своей сумкой, вроде как у почтальона.

— Эй! Милая! — кричу. — Сюда! Четвертый этаж, девятая квартира!

Она бумажку из сумки вынула, посмотрела.

— Нет, к тебе рано! Попозже зайду!

Послала мне воздушный поцелуй и в другой дом вошла.

Голос у нее сильный, молодой.

*

У Гюго, кажется, описывается, как монахи выращивали юродивых: мальчика помещали в фарфоровую вазу (наверное, всё-таки в глиняную, дешевле); он рос в ней, мягкие кости подчинялись жесткой форме, изгибались и скрючивались. Затем вазу разбивали (конечно, в глиняную!) и выходил урод.

Вот наше воспитание; так же воспитываем мы и детей. Все понятия и чувства смещены. Трусость называется у нас благоразумием, подлость — умением жить, ползание на брюхе — хитростью. Составилось новое представление о достоинстве человека. А поскольку мы не видим других, не из вазы, то считаем свое бытие естественным, человеческим. Наше заблуждение столь прочно, что мы начинаем искать современную литературу и искусство, и даже находим, самообольщаясь и рассуждая, что этот — хороший, тот — плохой, не замечая, что это искусство создается людьми из вазы, такими же убудками, как и мы.

Однако брезжит догадка в русском, что тут что-то не так. Она рождает постоянную тревогу в душе, то разгорающуюся, то почти потухающую. Мы живем с надеждой на перемены, но сами настолько безвольны и бессильны, что палец о палец не ударим ради этих перемен.

*

Они сомневаются в бытии Бога, я сомневаюсь в небытии Его.

*

По мостовой среди потока машин бегала собачка. Она, должно быть, потеряла хозяина и искала его; шараясь от автомобилей, собачка всматривалась в лица прохожих, озиралась, останавливалась; вид у нее был серьезный и сосредоточенный. Со всех сторон ей грозила гибель, но она бежала дальше вдоль тротуара... Я почувствовал, что тоска охватывает меня; не так ли бесприютен человек... человечество...

*

— Что ж вы нас обманывали, Петухов. Ведь ваша настоящая фамилия — Пивоваров. Пройдемте, пожалуйста, живо, живо!! Зачем ты это сделал?

— А я... люблю смешные недоразумения.

*

Кто-кто, а я знаю, что такое жилплощадь.

*

Хорошо всё-таки, что быт ужасен и отвратителен. Кое-как устроив его, устремляешься в область мысли, куда не допущены свиные рыла начальства.

(Зелен виноград).

*

— А этот-то звонит! Ну что, спрашиваю, звонишь? «Люблю тебя, говорит, Сима». Дрянь какая, говорю, что же это ты звонишь? Ну, было дело, ну, отдалась разок, что же, — теперь и звонить можно? Ты сначала

в Лондон съездий, сертификаты привези, а потом и звони! (*Передразнивая*) «Люблю тебя!» Ишь ты, какой прыткий! (В автобусе, подслушанный разговор).

*

Что такое нынешняя наука... четыре, нет, пять ступенек, висящие в пустоте... ни отступить, ни дальше пойти.

*

— Эй, винтики! Эй, колёсики партийного механизма!

— Здравствуйте, товарищ механик!

— Славно ли вам, завёрнутым?

— Ой, славно!

— Хорошо ли вам крутится?

— Ой, хорошо!

— Не пора ли вас смазывать-подкручивать?

— Ой, пора, товарищ механик!

Сыплется денежный дождь.

*

На работе — коллектив, в квартире — коллектив, да за что этот ад, Господи!

*

Они себе и академиков развели, чтобы всё было как у людей. Видел на днях одного. Старый, сухонький, всё что-то шепчет, губами шевелит. Вдруг вынул бумажник и стал пачку денег пересчитывать. Пересчитал, спрятал и опять губами шевелит, шепчет что-то.

*

Если с человеком случается пустяковая неприятность, например, у него перед носом захлопываются двери поезда в метро, то он засмеется, чтобы опередить смех других, хотя ему и не смешно; он считает, что над неудачами непременно нужно посмеяться. Тра-

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

диционный смех неудачника мне неприятен; он выдает будничного человека: человек смеется, когда ему не смешно. Ему страшна независимость.

*

Лев Николаевич Толстой мучался, как бы раздать имение и уйти. Наши муки проще и неприличнее: где бы достать займы двадцаточку?

(За три дня до полочки).

*

Я люблю грустить, но до определенных пределов. За чертой грусть превращается в боль, что совершенно нестерпимо, чистую острозубую боль.

Тогда я веселю себя, придумываю какую-нибудь смешнейшую историйку. Еду в трамвае и засмеюсь вдруг. Кругом думают, не сумасшедший ли, а это я себя рассмешил.

*

Иду на службу, гляжу, бесы прохожих в одну сторону тянут, под ногами путаются. Огромный хвост выстроился к газетному лотку.

*

В России невозможно выдумать кошмара, которого не было бы в действительности.

*

Газеты и радио живут своей жизнью, а мы — своей.

(Мнение одной приятельницы).

РАССКАЗ НЯНЕЧКИ

К нам в детский сад разнарядка пришла: отобрать пять детей и сдать на пункт. Но чтоб дети были не начальнические и не беспартийных родителей, а честных, проверенных коммунистов. Ну, мы отобрали Диму Молофеева, Аллочку Ройзман, Ваню Сергеева, Алика Бунчика и Пашу Сартакова, — и сдали. А потом в газетах читаем: в Брюсселе-то на выставке советская ветчина Гран-при получила.

*

Нет, интеллигенции я не люблю. Это — суетливые существа, бегающие, непрерывно «пробивающие» нечто, что гроша не стоит, тщеславные, завидующие. Это — рабы с высшим образованием, обиженные тем, что их не покупают, что у них нет денег.

*

Таинства непрерывны, но люди не замечают их. Люди пусты, словно и не было ничего. Рождается ребенок — хорошо, врач знает, что делать. Умер человек... «я вам сочувствую» — и всё.

*

Высшее начальство догадливо, тщательно скрывая свой образ жизни. Нельзя дразнить нищих запахом жаркого и видами дворцовых покоев. Зависть дала солдат для октябрьского переворота, она же сокрушит и нынешний режим.

*

Вчера сдал квартальный отчет... И отдел, и начальник знают, что он, наверное, липовый. Но так принято. Этот установившийся обычай и погубит империю. Славно.

*

Читаю надпись: «Искусство», а в витрине выставлена колбаса. Подхожу ближе, оказывается, колбаса нарисованная; так хорошо нарисована, лежит, как живая. Хочется её взвесить.

*

Пришел на выставку и прочитал в книге отзывов: «Спасибо! С удовольствием просмотрела выставку советской живописи. Поражает правдивая, но реалистическая манера. Спасибо художникам, чутко слушающим мои советы и пожелания.

Смерть».

*

Назвал однажды Ульянов Льва Николаевича Толстого глыбицей, с тех пор и пошло: глыбища, глыбища. А читать — совсем не читают.

*

Конечно, коммунальная квартира невыносима и для соседей; кто бы ни был человек, его раздражает насильственное сожительство.

*

По мере разложения государство всё решительнее насаждает антисемитизм. Тайная зависть простых людей и государственный страх, соединившись, родят погромы.

*

Сорок лет лили кровь, и живем в ее испарениях. Хоть уговорили людей, что они счастливы, только чувствуют они другое...



Автобус сбил кого-то. Я подошел посмотреть. На асфальте лежала женщина, старенькая, в грязном пальто, с растрепанными волосами. Пьяненькая, должно быть, из тех, кто бродит у гастронома с открытия до закрытия. Нищая, чулки, штопаные разными нитками, подошвы совершенно протертые. Лицо злое и сморщенное. Подъехала санитарная машина. Чистенькие студенты-практиканты положили ее на носилки, погрузили и уехали. Конец.



Если б меня потихоньку и без последствий исключили из партии! Но невозможно, невозможно. Затравят, съедят, в сумасшедший дом посадят. Я-то ладно, но они знают, где самое больное место: жена и ребенок. С ними-то что будет, Господи.

Черт, черт меня дернул вступить! Вступил просто, без размышлений, *не придав этому значения.*



Свойство молча всё понимать — неотъемлемое свойство православной русской души.



Не удивительно ли: на пустом месте, без учителей, без книг я вырос, откуда взялась во мне любовь к мысли, почему почувствовал однажды обаяние слова? Как же не предусмотрели, как же на плацу травинка выросла?..

Всё рассчитали, всё вытоптали, а вот понять не смогли: свой путь у Духа. Однажды Он повел зверя, сбрасывая по дороге когти и волосы. Помешает ли несчастное социальное устройство, когда Ему панцири и клыки не помешали?..

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Бытие определяет сознание... что же не хочется мне на трибуне бесноваться и гундосить, убивать и проповедовать убийство?

*

Конечно, лицемерие кончается в концлагере, но там же начинается и умирание. Вот что смущает.

ОБМАНУТОЕ ОЖИДАНИЕ

— Девушка, извините, я хотел бы с вами поговорить, буквально пять минут. Дело в том, что, может быть, сказанное мной покажется вам излишним, чрезмерным, я ведь не знаю, какие у вас были планы, и я, конечно, ни в коем случае не хочу навязывать вам своих мнений и, Боже упаси, своего взгляда на жизнь... Но дело в том, я подумал, что это как раз случайность, вами непредусмотренная, что вы вообще этого не хотели, а это произошло, так сказать, помимо вашей воли, хотя я вполне допускаю, что тут была некоторая цель, если вы не захотите, вы мне, пожалуйста, ее не объясняйте, это ваше личное дело! Но вдруг всё иначе, вдруг это, так сказать, как говорят англичане, шутка судьбы? Вот почему я остановил вас, отнюдь не с целью сделать вам замечание, нет! Я понимаю, что моя точка зрения — всего лишь мнение постороннего человека, другого пола, так что, я надеюсь, вы не осудите меня, а впрочем, если захотите, то будьте со мной откровенны; я не напрашиваюсь в советчики, поймите меня правильно, как говорят французы, экскюзэ муа, но дело в том, что у вас вся задница голая!..

*

Идет Смерть, а на ребрах у нее вымпелок пришпилен: «Ударница коммунистического труда».

*

Почему русская душа столь знаменита? Потому что молчим. Неизвестно, что она чувствует, а за неизвестностью всё кроется черт знает что.

*

Октябренок, пионер, комсомолец, коммунист... как разорвать эту цепь?.. Тайно напитокся.

*

Один поэт печатал свои стихи в журнале для слепых. В старости он издал полное собрание сочинений. Листает первый том, гладит листы и плачет:

— Поэмы... сонеты... и всё пупыршками, пупыршками!

(Сюжет).

*

Что такое жилплощадь? Неосведомленный человек подумает, что это величина комнаты или квартиры. Прочь, непосвященный! Жилплощадь — это надежда и отчаяние, восторг, бездна, близость к самоубийству, райские кущи, навязчивая идея и еженощный сон, призвание на помощь всех богов и всех сил ада, вот что такое жилплощадь!

*

Советский человек рождается, старится и умирает в очереди у прилавка.

*

Если б можно было отдавать четверть, треть зарплаты, половину даже, голодать, но иметь сносное жилье; как бы любил его, устроил бы, всё было бы ладно. Сидел бы и думал.



...двадцать восемь дней отпуска думаю о многом и так начинаю понимать себя, что решаю: скоро всё это кончится. Прихожу на службу и вижу: хари. И снова — непреодолимое отчаяние.



Отчего в эпоху террора власть вырывала ногти вместе с подписью? Почему она чувствовала потребность в оформлении дел, делаемых в глухих подвалах, откуда ни один крик не доносился до ушей прогрессивных людей всего мира?

Конечно, деспотия хотела выглядеть государством даже в собственных глазах: две тысячи лет с требованием «не убий» оставили след. Оформление убийства, само по себе маловажное рядом с незащищённостью и кровью, означало вмешательство иррационального и высокого: не убий!



Георг родил Карла, Карл родил Фридриха, Фридрих родил Владимира, Владимир родил Бенито, Бенито родил Иосифа, Иосиф родил Адольфа, Адольф родил Никиту, Никита родил Мао... тьфу, пропасть!

ОПАСНАЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Сначала темная шевелящаяся масса. Потом разглядишь отдельных особей. Видишь затем членики, глазки, усики. Еле слышимый писк делается громче, различаешь слова; узнаёшь об их чувствах и заботах. Смотришь, и здесь возможны ранги: у этого усики подлиннее, у того глазки повыпуклее, у третьего оригинальность в мыслях. Уже понятно, что тот, суетливый, — очень талантливый, а этот, припавший к еде, — просто одаренный. Уже и по плечу тебя хлопают, знакомиться хотят, в гости зовут. Еще чуть-чуть, и сам подхватишь хвоинку и понесешь, куда велят.

Тут остается вспомнить стихотворение Пушкина или Блока, или еще какого-нибудь поэта. И сразу подкинет голову, словно в подбородок ударили, даже кровь в ушах зашумит.

И опять вниз: темная шевелящаяся масса.

✱

Приснилось, будто я на партсобрании сплю. Просыпаюсь, а я на партсобрании сплю.

✱

Понятно, почему проиграла демократия в октябре. Крепкая нелегальная партия, захватив власть, овладела обеими сторонами медали. Узнав, как властвовать, она в то же время знала и приемы борьбы с самовластьем, всю эту нелегальщину и конспирацию. Оттого-то провалились заговоры против новоиспеченной деспотии.

✱

Если б древние захотели изобразить богиню Конспирацию, то испытали бы едва одолжимые трудности.

✱

...это не сновидение, которое можно описать; на секунду приобретя эти глаза, чувствую, что нельзя описать ее, а можно лишь ее созерцать... чувствовать... (Сознание делает вдох, мыслю и чувствую полным сознанием). Целый миг вижу истину... не успеваю ее понять, потому и описать.

✱

Меня очень интересуют последние слова, сказанные великими и невеликими перед смертью. В этих фразах, иногда бессвязных, отрывочных, проглядывает новый опыт, не уничтоженный правкой, продуманностью, искусством.



Я смотрю на людей, которые могут устроить себе жильё, с немым восхищением. Ходят где-то, знают, с кем говорить; походят, поговорят, глядишь — и в отдельную квартиру переехали.

Я этого не умею.



По всей границе стоят солдаты: мы живем в огромном концлагере. Внутри рассыпаны, точно гнойники по телу, маленькие концлагери. Этот кошмар называется *Россия*.



Говорят, на Пряжке есть отделение, где сидят помешанные на нелегальном переходе границы.

— Вот, — говорит один, — в том месте лужайка и кустики, и старая осина растёт. Вот там можно.

— Да, — другой отвечает, — там можно.

— А чуть правее взять, к ручью, так там нельзя...

— Там нельзя, нельзя... а где осина — можно. Да я там был!



Все молчат, и молча всё понимают. Поэтому трудно догадаться, что́ известно людям, а что́ — нет.



— Тут он и капнул на Пивоварова...

— Вот чёрт!

— Пивоварова из секретарей чесанули, притих. Потом того подсидели, и тут Пивоваров стукнул насчет пятого пункта. Туда-сюда, а дело сшито и подписано: пожалуйста говно грузить!

(Партийный жаргон).

*

В книжном магазине наблюдал за одним покупателем из средних, советских людей.

— Что вы можете предложить мне? — весело спросил он.

— Да вот нет ничего, — говорит продавщица, стоя у заваленного книгами прилавка.

— Так уж ничего и нет! — с надеждой говорит покупатель, обнаруживая полную неискренность во внутренней политике.

— Нет, ничего нет. Смотрите сами.

Он перебирает книги сам, хмурит брови, внимательно читая аннотации. Наконец, уходит, купив книгу Алексея Глистова «Для радости нет преград».

*

Всё-таки хорошо, что в нынешней России не печатают книг живых писателей: пишут, зная, что не только не напечатают, но и посадят, если покажут сочинение. Пишут бесплатно, росточки свободны от корысти. Если б еще и победили тщеславие.

*

Всё остроумие, весь разум и вся творческая энергия России направлены на сочинение анекдотов. Заметны уже и стили.

*

Опасаюсь одного... полюбить боль.

*

Во Франции... нет, во Франции нельзя построить социализма. Там нет Воркуты, Казахстана, Чукотки. Хотя если Франция войдет в СЭВ... взаимные услуги: Франция нам — шампунь, мы ей — концлагеря...

Интересно, где в Париже будет Лубянка?

(Из головы парторга).

*

В России нет писаных законов, но мы нутром и всею кожей знаем их.

— А уголовный кодекс?

— А это так... руководство к действию.

*

Ах, моя тетрабочка! Ах, моя красавица! Бумага какая гладкая! Переплет какой чудненький, красивенький, бумагой мраморной оклеенный!

Вот я сейчас запишу, как меня сегодня обидели, а как запишу, так вроде бы и не обижали...

*

Народ, разбитый на роты, батальоны, полки, становится войском. Любопытно, сможет ли русское войско стать когда-нибудь снова народом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Смерть г. Ленинграда вызывает Смерть г. Москвы на социалистическое соревнование.

*

А. Не пускают за границу, черти!

Б. Что вдруг?

А. С женой развелся.

Б. А-а-а... А ты бы постучал маленько... глядишь, и пустят.

А. (со смехом). Только это и остается!

(В трамвае, подслушанный разговор).

*

— Здравствуйте, товарищ ходок, садитесь! Вы, конечно, бедняк?

— Да вот, Володимер Ильич, вроде бы и нет. Лошадь есть у меня, есть.

— Ага! Стало быть, товарищ, вы — середнячок?

— Да как сказать, Володимер Ильич... сыт каждый день, да, дети сыты, обуты, так что, да... Две лошади у меня, вот как.

— Так, так! Вы, стало быть, товарищ, кулак?

— Да и то сказать, Володимер Ильич, щи каждый день, да, дети вот одеты, так что, вот, и мужики иной раз скажут: да ты, говорят, Афанасий, кулак!

— Ага! Стало быть, кулачок. Гм! Так, так, так. Однако кулачок! Две лошади, так, так, дети обуты, так, так. Гм! Феликс Эдмундович! Расстреляйте товарища.

(Анекдот).

*

Славная у меня тетрадь, не то что нынешние, в клеточку, в гадком коленкоре, из которых листики вырывают, чтобы доносик нацарапать.

*

А ведь ничего в жизни ни разу не повторилось. Древний грек любил по-иному; что грек, если и мой сосед любит иначе, чем я. Сходное существует в игре рассудка, в математике; всё остальное, где хоть чуточку наличествует разум или чувство, несравнимо в действительности, но: сравнимы понятия. Стремление дать общие понятия, свести всё к одному, для меня загадочно, но я чувствую этот соблазн.

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

Если парторг суетится без толку и глаза прячет, то наверху, наверное, опять кого-нибудь сняли и скоро объявят об этом.

*

Один академик, говорят, всю жизнь изучал Китай и под конец стал совершенно походить на китайца. Я-то изучаю Россию, боюсь, как бы волосы на лбу не выросли.

*

...Смотрю на них и думаю: мразь. Смеются, жмут руку, и я им жму руки, и тоже смеюсь. Мы улыбаемся друг другу. Начинает течь рабочее время. Хочется, чтоб поскорее прошел день, вечером пойти к жене. И здесь почувствовать себя хорошо. Рюмочку выпить. Суждение записать.

*

Однажды сапожник позвонил по телефону Борису Леонидовичу Пастернаку. Б. Л. так прямо ему и сказал: квартиры нету, жизни никакой... Вот что такое жилплощадь: в коем веке тиран позвонит, а всё о ней, о ней...

*

Всё намекают, намекают, а сказать боятся.

*

Георг родил Карла, Карл родил Фридриха, Фридрих родил Владимира, Владимир родил Бенито, Бенито родил Иосифа, Иосиф родил Адольфа, Адольф родил Никиту, Никита родил Мао...

Растет дерево, на котором повесится... человечество.

*

Вот у Пешкова подонки общества так славно обо всем рассуждают. Я пробовал говорить с такими же пьяницами и оборванцами. Увы, увы. Времена настолько изменились, что даже шваль измелъчала.

*

Сосуд греха, — говорили о женщине... говорили недальновидно. Нет, сосуд жизни. Только она неустанно напоминает о бытии; рождающая природа ее противостоит казарме и пустыне. Посреди мертвецов она напоминает о жизни, среди ненависти она говорит о любви.

И живое тело, и живая душа обязаны всем женщине.

(Но не той, которая останавливала коня на скаку и входила в горящий дом: это, должно быть, Некрасов спутал, это, верно, мужик был).

*

Всё-таки и мне кое-что дал переворот 56 года: двух и даже, видимо, трех собеседников, которые не донесут, наверное.

*

Если б можно, так я в свою тетрадочку и переселился бы.

ИЗ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Однажды Петя вошел в комнату и увидел на столе сливы. Он оглянулся и несколько штук съел. Тут вошел его папа и, пересчитав сливы, спросил:

— Не ты ли, Петя, съел четыре сливы?

— Нет, — сказал Петя.

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

— Как хорошо! — воскликнул папа. — Те дети, которые съели сливы, все умерли.

Петя вскрикнул, упал и умер.

Однажды Петя пас стадо овец. Ему стало скучно, и он закричал:

— Волки! Волки!

Прибежали мужики и спрашивают, где же волки.

— А я пошутил, — сказал Петя и засмеялся.

Тут мужики его и убили.

*

— Смерть, не могу больше. Скажи, когда скосишь, чтобы я знал, сколько еще терпеть.

— Э... завтра, Васенька.

— Как?! Это невозможно! Это ужасно, я не переживу! Караул!

— Хе-хе... Да я шучу, Васенька.

*

Сослуживцы поехали на экскурсию. Я тоже поехал, боясь прослыть совсем уж *пассивным*. Жена поехала со мною, и я радовался, что буду не один, а место, куда поехали, славное.

Она всю дорогу грустила, я ее развеселить старался, рассказывал всякие истории. Рассмешить удалось, но развеселить — нет.

Вернулись оба в тоске, оба измученные чем-то.

Я взял ее руку и говорю: — Милая, милая, что ж так... вот обоим печально, и не знаю, почему... ты скажи мне?

— Васенька, ты не приглашай меня больше, хорошо? Когда ты с сослуживцами...

— Что так? (А сам-то догадался о страшном, смутно, но догадался!)

— У тебя было... не ты был, а знакомый какой-то, на тебя похожий... чужой-чужой... у тебя было лицо... *другое!*..

У меня в глазах потемнело, и что уж тут делать, заплакал. И жена заплакала.

— Ах, милая, — говорю, — что-то во мне противилось, чтобы и ты ехала, остерегало, а я не дослушал! Прости меня...

Так этот гадкий день вдвоем и выплакали.

✱

Хотя я и дружу со Смертью, но с женой знакомить не хочу: вдруг милая жена испугается, или Смерть заревнует, отомстит по-своему.

✱

— Я подержу его, мама перережет глотку, а ты, сынок, напьешься крови. (К вопросу о воспитании).

✱

Слава Богу, природа берет свое. Одно время меня шокировала девица из соседнего отдела, начальница над комсомольцами. Я с отвращением смотрел на лицо, не лишенное привлекательности, но изуродованное выражением по-комсомольски понятого долга. С ее лица не сходила *активность*. И вдруг с удивлением я стал замечать, что черты лица разглаживаются, — у нее начался роман, и вскоре она вышла замуж. Родившийся ребенок окончательно превратил ее в милую молодую женщину. Разумеется, она больше не подходила для роли надзирательницы.

*

Неужели так далеко зашло дело?..

(За бритвем, глядя в зеркало).

*

Я жил, как все: в пустоте, в одиночестве, под барабанный бой и окрики командиров. Внутреннее чувство подсказывало о недостойности такой жизни, о том, что эта жизнь — нечеловеческая. То же чувство повело меня к русской литературе, я нашел родной дом. Потом я понял, что нашел в литературе и родственников (увы, уже умерших); в них я почувствовал людей и то, что я с ними, с людьми.

Я не обольщался и знал, что это — нарушение обычаев шабаша, в котором с пеной у рта кружится Россия; несколько маленьких уроков показали мне, что распорядители шабаша сильнее меня, что они изобретательны, терпеливы и неумолимы в преследовании того, кто лишился козлиного образа.

Я не мог отдать свое человеческое глумлению, истязанию, голоду. Я не мог также, признавшись, что я человек, очистить лицо и торжествовать над козлами силою духа и веры: мое тело боится мучений.

Я стал лицедем.

*

«Нужно пробивать». Что? Намеки, намеки, намеки...

*

Ну хорошо, говорят, но если всего этого не будет, что же будет? Как всё устроить? Что учредить взамен разрушенного?

— Учредим свободу!

— Ну... свобода... что такое свобода...

Они не чувствуют свободы, для них это неопределенное состояние.

Эти люди не родились ни для внутренней жизни, ни для внешней: свобода и государственность им неизвестны.

*

Сидит и читает в газете: «Наша литература обогатилась такими зрелыми мастерами, как Евгений Вонючкин, Иван Говнов, Юрий Глистов и другими...»

— И другими?! А где же, где я, я, Андрей Какашкин?!

РЕЦЕПТ

Собрать лепестки цветов василька, высушить на воздухе в темноте и растолочь. Добавлять в готовый суп, по маленькой щепотке на тарелку.

*

(На партсобрании).

Душа прониклась свободой, приняла ее, — настоящее свое состояние. Рабство вытеснено на лицо. Как очистить его?

*

Поехал на экскурсию с сослуживцами, чтобы не выделяться *пассивностью*. У какого-то памятника фотограф установил нас полукругом, щелкнул. Я попытался избежать общей участи. «А вы что же?» Пришлось встать среди них. Через неделю получил фотографию. Долго, долго рассматривал, но так себя и не нашел.

*

Иногда мне кажется, что иду, иду по пустыне, нескончаем этот переход, а вокруг трещины, пыль, раскаленное марево, терзается плоть и душа, а я всё иду, иду по пустыне, и нет ей ни конца, ни края, нет ничего, кроме терпения, такого же нескончаемого...

*

В троллейбусе едет девочка, рядом с нею сидит беленькая собачка. Вошел мужчина, по виду рабочий, лет сорока пяти.

— Ах, какая собачка! — засюсюкал. — Ах, какая беленькая!

И хотел ее погладить. Но собачка вдруг тяпнула его за руку.

— Ах ты гадина, кусается! Это как же, в троллейбусе ездить! Неположено! Нельзя в транспорте с собаками ездить!

Кровью налились глазки у пассажира, голос злобный.

Вот оно: я поласкать хочу, а моей насильной ласки не принимают; я тогда, пожалуй, убью.

*

Живое воображение не позволяет мне быть воином.

*

А ведь Абрам Терц написал, что, мол, не будь революции, мы сделали бы ее. Интересно, что он будет думать после отсидки.

УХОД

— Софьюшка!.. Софьюшка, ты спишь?..

— Ах, кто здесь?! Это ты, Лёвушка?

— Софьюшка, я никак не могу заснуть... скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, Достоевский скверно пишет?

— Скверно, Лёвушка, очень скверно. Ложись спать, дорогой, уже поздно.

— Софьюшка!..

— А? Что?!

— Прости, я, кажется, тебя разбудил... я никак не могу заснуть... скажи, пожалуйста... как ты думаешь, кто гениальнее — Шекспир или я?

— Ты, Лёвушка, ты, ложись спать, милый, уже три часа ночи...

— Хорошо, хорошо, я теперь засну.

— Софьюшка, Софьюшка!

— А, что такое?!

— Прости, мне пришла в голову мысль, я хочу спросить у тебя... кто гениальнее: я или Бетховен?

— Ах, Лёвушка, конечно, ты гениальнее, постарайся заснуть, уже очень поздно!..

— Софьюшка, Софьюшка!..

— Кто здесь?!

— Это я... прости, я тебя разбудил... но как ты думаешь, кто гениальнее: я или... Гомер?!

— Ты! Ты гениальнее Гомера! Ложись спать, Лёвушка, пожалуйста, уже очень, очень поздно!

— Хорошо, хорошо, я засну теперь, ты успокоила меня...

— Софьюшка! Софьюшка!!

— Ах, ну что такое!

— Прости, я никак не могу заснуть, мне не дает покоя одна мысль... Скажи, пожалуйста, как по-твоему, кто гениальнее: я или... Иисус Христос?!

— Ты!! Гениальнее, старая бестия!! Ты гениальнее всех вместе взятых!!!

— Ах, вот ты как со мной заговорила... Всё конечно. Я уйду!

*

Даже будучи деятельны, они спят. Сонно выполняют то, что предписано партийной традицией, сонны-

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

ми достигают высших постов и сонно двигают руками. Ни малейшего понимания, ни одного ясного жеста; они спят и не слышат ни народных пожеланий, ни его отчаяния.

Россией правят сомнамбулы.

✱

Невнимание к внутренней жизни человека, свойственное естественным наукам, обернулось презрением к ней в философии, захотевшей стать наукой, в марксизме. Зёрна лжи были посеяны в неразвитом сознании. Жить стало лучше: уже не убеждали, а расстреливали.

(На семинаре партийной учебы).

✱

Они уже и не дети, любопытные к миру и осваивающие его; они и не взрослые, узнавшие логику и игру ума; они не развились и замерли, приняв второстепенные свойства человека, любовь к власти и комфорту, за главное.

✱

Они лишены чувства юмора и не замечают, как секут сами себя. Например, сеть *партийного просвещения*.

✱

Минимум! Минимум жилплощади!

✱

Одна женщина моется в ванне, а мужчина встал на табурет в коридоре и подсматривает за нею через стеклянный верх. Она заметила это и говорит:

— Ну, чего уставился? Голой бабы не видел?

— Нужна ты мне! — отвечает. — Я гляжу, чьим мылом ты моешься.

(Анекдот).

*

В Москве на выставке показывают машину, которая мелко-мелко сечет бумагу и красит ее в чайный цвет. С одной стороны макулатуру закладывают и краску заливают, а с другой выскакивают цыбики с индийским чаем. Позвали лучших специалистов, а те говорят, что по вкусовым качествам и аромату он не только не отличается от натурального, но и превосходит его.

Изобретателю дали Ленинскую премию.

(Подарок моего друга).

*

Власть, безусловно, исходила из своей природы, раз навсегда установив образцы так называемого социалистического искусства и преследуя любые отклонения от них, даже если они не имеют ни малейшего отношения к политике. Ведь плюрализм таит в себе возможность сравнения, следовательно, — познания, а оно смертельно опасно тотальной деспотии.

*

За всеми повадками командиров неутомимо следит око беспечного в своей неряшливости и обездоленности русского человека. Конечно, сделать он ничего не может, конечно, шкуру с него сдерут не одну, зато выпьет он стаканчик и посмеется над немислимой властью от души.

*

Идет заседание. Сталин делает доклад. Вдруг кто-то чихает в зале.

— Кито чихнул?

Молчание.

— Пэрвый ряд, встать. Расстрелять.

Бурные аплодисменты.

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

— Кито чихнул?

Молчание.

— Второй ряд встать, расстрелять.

Долго не смолкающая овация
всего зала.

— Кито чихнул?

Молчание.

— Третий ряд, встать. Расстрелять.

Овация всего зала, все встают.
Возгласы: «Слава великому
Сталину!»

— Кито чихнул?

— Я, я!! Я чихнул! (Рыдания).

— Будьти здаровы, таварищ!

(Анекдот).

*

Сколько же лет Россия жила европейской жизнью?
Да, семнадцать лет...

В Некрополе следует установить памятник и на-
писать:

РОССИЯ

1900 - 1917

На толстом слое чернозема взошли ростки: вдруг оформилась культура, по-настоящему русская, по-настоящему европейская: Россия дала первых своих оригинальных философов, и не одного, а плеяду, дала новую живопись, новую литературу...

Вдруг открылись дорожки к духовному.

Повременила бы судьба, позволила бы расцвести, укрепиться... Было трудное и незащитное время самоутверждения.

И тут... страшная катастрофа в октябре.



Многое зависит от фразы, многое. Спросить: — Существует ли Бог? — одно; — Не существует ли Бога? — другое...



Дважды мне было подарено ощущение смысла Жертвы Христовой. Нет, не терпение это, сжав зубы, это чувство, что всё исполнено на земле, что отпадает земное вкупе с телом, мучимым или нет, что пришла Печаль Прощания Навеки.



Предвестьем льгот приходит гений
И гнётом мстит за свой уход.

Гений, должно быть, Ульянов. Льготы... льготы — многое, несомненно, что и жилплощадь. Вот каково значение жилплощади в России, что даже в стихах о ней пишут. Но Борис Леонидович заблуждался или, может быть, по основаниям, которых я не знаю, считал, что Ульянов принесет с собой жилплощадь.

Дело, верно, к сожалению, еще проще: были же *гении*, Александр, Бонапарт... Стало быть, и при мне гений есть, например, Ульянов. Но он обладал одной лишь стороной гениальности — энергетической. И почему *гений* «гнётом мстит»? Точно ли это свойство гения — мстить, уходя? Или это свойство одного Ульянова?..



...Я хотел бы приобрести то мудрое состояние души, когда всё мелкое, политическое осыпается пылью с обуви; когда Россия оказывается временным бедствием, несущественным для вопросов Духа.



Господи, если б не она, что со мной было бы! Совершенно не умею жить в этой стране. Никто не пожалует, никто, только она да, может быть, Ты.



К числу Муз прибавилась главная: Конспирация.



Слова-гарпии заполнили русскую речь, что очень затруднило общение. Болят уши. Много их, много их с медными клювами: партийная совесть, священная ненависть.



Урок в школе. — Дорогие дети, — говорит учительница, — всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. Однажды Ленин решил побриться. Он взял бритву и вышел на балкон, а вслед за ним маленький мальчик выбежал. Вот Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот он побрился, кисточку вымыл и опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и... положил ее в футлярчик.

Вот как добр был наш Ленин. (Анекдот).



Жизнь настолько мучительна, что мученичество не производит должного впечатления.



Почему госбезопасность убивает тайно в своих подвалах? Они не верят в свою правоту. Они знают, что совершают преступления. Почему же они продолжают убивать? Потому что они не чувствуют, что совершают преступления.



Есть в России поэт Божьей милостью! — *Иосиф Бродский*. Даст Бог, тюрьма укрепит его, не измучает. Стихи несовершенны, нет покамест пронизательности, от которой захватывает дух. Но он молод и *слышит*.

Как странно достались они мне. Понес отчет в переписку; в бюро сидела одна незнакомая девушка и печатала что-то. Прочитал через плечо строфу — стихи, но чьи — не знаю!

— Ой, — говорю, — что это за стихи?! — Вид у меня был, наверное, восторженный и удивленный.

Она чуждо на меня посмотрела.

— Неужели *вам* это интересно?

— Еще как, милочка!

В доказательство, что интересно, прочел на память Блока. Подружились.



Лги и клятвопреступай, но только во спасение души.



Звонок. Открываю дверь, а на пороге Смерть.

— Здесь Панкратов живет?

— Да... не здесь, не здесь! Этажом выше!!!

Она пошла по лестнице, а я пальто накинул и бежать. С тех пор на нелегальном положении живу, у знакомых.



По вагону метро побирался нищий; я подумал, что он сообразительнее собратьев, просящих милостыню в электричках: там их легко вылавливает привычная к ним милиция.



«Нет, весь я не умру...»

А я весь умру, до кончиков ногтей, в пыль превращусь, в дым! Тут жилплощади нет для живого, для

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

мертвого и подавно двух метров не найдется, сожгут, точно я римлянин или индус!

*

Удивительна гордость русского количеством водки, которое он может выпить. Хочется превосходства хоть в чем-нибудь.

*

По мере гниения и распада режима антисемитизм будет усиливаться. Неоформленная ненависть среднего, советского человека, чувствующего в глубине души ужас своего нечеловеческого существования, ищет цель; начальство далеко, его никто и не видел живым, а еврей рядом. Разве может генсек-невидимка портить жизнь, когда вот он, живой во плоти человек, но *не такой*: еврей.

*

Сердце русского человека — копилка ужасов, но ведь рано или поздно копилки наполняются, и их разбивают. Свобода будет куплена страшной ценой: с властями расплатятся их же монетой.

*

Приехав за город, в лесу чувствую, что вечен. А в городе иду и думаю: всё это скоро будут раскапывать...

*

Я люблю жену. Она чувствует, что меня гнетёт, хотя и не очертила бы отчетливо это гнетущее. Она рада, когда в нашей комнатке, в тепле и уюте, размягчается мое лицо, приобретает цвет, я уже на человека похож. Мне хорошо с нею.

Вот еще один день пережили; вечер и ночь впереди, командиры спят, не надо строиться и маршировать. Спасибо Тебе, Господи.

*

Мне нравится математика, мне приятна чистая игра ума, но только на работе: каждый занят своим делом, и я тоже. Это отдых, более того, спасение от безмыслия службы. Но чего-то не хватает в символах... в них нет души, вот почему так тороплюсь всегда домой.

*

Что делать с бесчисленными статуями Ульянова, когда всё это кончится? Разрушить их, сломать... нет, нет, нельзя отказываться от прошлого, даже постыдного. До времени свободы я не доживу, поэтому вот мой проект.

Нужно выбрать огромный пустырь и свезти туда разнообразные статуи: с протянутой рукой, по пояс, до колен и разные другие; все эти статуи и бюсты нужно расставить шпалерами, где плотно, где нет, насадить кустарники и деревья. Должно получиться что-то вроде парка-кладбища. Вдаль уходящие ряды изображений идола пусть напоминают о постыдном и пошлом безумии России и остерегают от подобного.

...Горожане привыкли к парку и уже не замечали статуй и бюстов. На лавочках греются старики, а вечером он превращается в место свиданий влюбленных...

И слава Богу.

*

Они пишут Бога с маленькой буквы... до чего заносчивы... неосторожны...

*

Некто Кишечкин написал монографию о творчестве Какашкина и подумал: «А ведь Какашкин жив. Вдруг он скажет, что всё о нем написанное — вздор». Кишечкин посылает убийц к Какашкину. Монография выходит с посвящением: «Светлой памяти Андрея Семеновича Какашкина».

(Сюжет документальной повести).

✱

Русские всегда были гегельянцами, никакими не православными. По-немецки-то свобода есть познанная необходимость, а по-русски сказать: плетью обуха не перешибешь.

(На семинаре партучебы).

✱

А почему вы решили, что это всё должно кончиться? А вот никогда не кончится. На совете богов решено, что у России нет будущего.

Может статься, что и у человечества... нет будущего.

✱

Демократия... свобода... светлое будущее... счастье всего человечества... это ладно, это, точно, выражения, это уж, верно, эзоповский язык, а вы мне вот что скажите: когда убивать перестанете?

✱

Люди понимают свободу не как творящее состояние Духа, а как незаполненность, как пустое место. Удивительно.

✱

Россия недостойна свободы.

✱

Доживи Толстой до семнадцатого года, не смолчал бы, конечно. Разумеется, большевики убили бы его, но малину он им подпортил бы.

✱

Гений без Конспирации — ничто.

(На партсобрании).



Образовался огромный фольклор, — анекдоты об Ульянове, Чапаеве, сапожнике и других богатырях партийной мифологии. Публика, смеясь, освобождается от страха. Что-то будет дальше?..



Нынешний русский интеллигент похож на гоголевского Петрушку, только рангом он повыше: удивляется, что из слов складываются мысли.



Ночью поймал соседку в ванной за резанием моей сушившейся рубашки. Так-то. Жаловаться? Кому? В суд? «А не докажете!» Посмотрел я на оскар-уайльдовский треугольник в спине, и руки у меня опустились. Бежать от них, бежать без оглядки!



Когда я учился в институте, то был у нас предмет, называвшийся «философией». Вот когда я натерпелся! Велели однажды прочитать к семинару сочинение Ульянова. Читаю и не могу понять: ни одной фразы осмысленной, слова-гарпии кричат пронзительно, а за словами — темная зародышевая масса мысли. Всё что-то сообразить хочет Ульянов, но никак не может.

Сколько я хитрости и остроумия потратил, чтобы за всё время учебы так и не прочесть ни страницы.



Ах, Иван Калита, ах, собиратель земли русской. Найдется ли в России собиратель... русской души?

*

Может быть, самое страшное — состояние бесплодной тоски, когда и цветка не видишь, и молитва смешна, ирония притупила стрелы, и рука жены безжизненна, и ребеночек посторонний какой-то; чувствуешь одно: ускользает жизнь, еще секунда, — и выскользнет как змея. Тогда не могу даже отчаяться; всё нестерпимее положение, и остается единственное — стакан вина.

*

Кровь людская — не водица. Какой навсегда канувшей древностью веет от этой поговорки.

*

«Будущее русской литературы — ее прошлое». Так, так. Я представляю себе литературу почти географически: вот густой лес, запахи смол и трав, равнины с чистыми реками. Там, дальше, долины, предгорья и белые неприступные вершины. Вот мой дом. Я не завистлив и не ревнив, пусть и другие легкие дышат воздухом.

Только вся эта местность обнесена забором из газет и расставлены часовые.

Одни хитрецы вроде меня попадают домой.

*

Мои чувства — только мои, или есть где-нибудь человек, который чувствует...

Эта надежда сходна с той, что где-то далеко, среди бесчисленных галактик плавает незаметная планета, на которой существует разумная жизнь.

*

Я помню, как в студенчестве начал понимать и отпадать от стада. Каким маленьким и ничтожным чувствовал я себя в аплодирующем и ревушем зале! «А

вдруг они правы?! Это я, я неправ!» Как я был одинок; измученный одиночеством, я терял веру в себя. Ужасны муки рождающейся души.

И она родилась. Да, и теперь я одинок, хотя есть два и даже, наверное, три человека, с которыми могу, до известных пределов, говорить откровенно.

Когда теперь сижу в аплодирующем зале, то знаю, что они — ничтожны. Нет страха перед этим кислым едиனுшием, одно омерзение.

*

Иду по бульвару, смотрю, Смерть детскую колясочку катит.

Заглянул под кружевную занавесочку, а там хорошенький маленький скелетик лежит, курлычет по своему, гробиком игрушечным гремит.

Смешной такой.

— Здравствуй, — говорю, — милая, никак родила?

— Да вот родила, Васенька. Сама не справляюсь.

*

Время к полуночи, а мы пошли с женой погулять. Небо чистое, холодное, всё в звездах. Сидим в пустынном скверике, обнялись, будто юные любовники.

— Ты знаешь ли, милый... ты дорогой мой...

Меня так и пронзила проникновенность тона, даже немножко больно сделалось.

— Милая, милая... ах, как объяснить... вот сердце, израненное, больное, пугливое как заяц... ты сказала, а оно вздрогнуло и... улыбнулось...

*

— А ведь ты, Василий эн эн, женат, и ребеночек у тебя есть, — сказала мне Смерть.

Я затрясся, побелел:

— Нет, нет! Что ты...

— Ладно, не бойся. Я их тоже люблю.



Было время, когда я чуть не посчитал Вознесенского поэтом. А потом на литературном концерте долго разглядывал его лицо: глазенки блестят, печататься хочет. На инфантильном лице проступили резкие черты добытчика.



Сосед ворвался в ванную комнату, когда я мылся. Ему, видите ли, показалось, что долго очень моюсь, не его ли мылом. Я не сдержался, дал ему затрещину.

Приходит через полчаса с участковым.

— Вот этот хулиганил.

— Вы ударили его?

— Что вы, товарищ капитан, — говорю. — Вы посмотрите на него! Пьяница, всю получку пропивает, а теперь, оказывается, в клеветники поступил...

Вздыхнул и продолжаю:

— Я коммунист, и даю честное слово коммуниста, что ничего подобного не было! — лгу голосом Левитана, когда он речи начальства читает. — Могу поклясться на партбилете, на самом священном для меня предмете! — Голос мой зазвенел, словно зарплату прибавили.

Капитан внимательно смотрел на меня, потом показал кулак соседу и ушел.

— Что, съел, гнида? — сказал я соседу.



...Я тоже немножко еврей: я бастард. Безотцовщина, то, что я не такой, как все дети, поставила меня на одну доску с евреями. Бывали коммунальные насмешки

и прямые издевательства, за которыми крылось свойство русского характера (и не только русского): ты дрянь, потому что у нас есть (нет) то (того), чего (что) у тебя нет (есть). Конечно, я воспринял антисемитизм, пытаюсь слиться со всеми и не быть чужаком. Меня всё равно не приняли, и детский, подражательный антисемитизм выветрился.

Кстати, коммунальная мораль, несмотря на войну, разделяла безотцовщину на сорта: у этого отец убит, у этого сидит, а у этого нет.



Сидим как-то, я и Смерть, на бульваре. Мимо юноша идет с девицей, хохочут оба. Смерть покопалась в своей почтальонской сумке, вынула карточку. Имя-фамилия на карточке, фотография этого юноши в фас и профиль, года жизни проставлены. Гляжу, а число-то смерти завтрашнее.

— Один день ему, значит?

— Да. Завтра в десять вечера у него буду.

— Можно мне предупредить его?

— Знаешь, Васенька, не надо бы, не полагается...

Ну ладно, тебе, старому приятелю, уступлю.

Я встал, подошел к ним, думая, как объяснить.

— Простите, — говорю. — Я вас долго не займу... Может быть, то, что хочу сообщить вам, покажется удивительным и невозможным... Но дело в том, что я немножко увлекаюсь физиогномикой и магией, так сказать, и потом есть у меня знакомые, связи, если можно так выразиться, и я достоверно знаю, из первых рук, — а вдруг вы захотите распорядиться двумя днями по-особенному? — так вот, дело в том, из-за чего я и остановил вас... только, пожалуйста, не волнуйтесь. Вы завтра умрете.

Они глаза выпучили. У юноши во рту высохло, хочет сказать, а не получается. Я даже раскаиваться начал, что сказал ему.

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

— Что же делать... не знаю, что теперь делать...
— бормочет юноша.

— Врёт он, чокнутый! — завизжала девица. —
Я милицию вызову!

Я пожал плечами и отошел.

— Мне пора, Васенька. — Смерть со мною простилась, вскинула косу на плечо и ушла.

Потом встречаю ее.

— Ну, что с тем малым, Смерть? Которого я предупредил?

— Пьяные спали, он и девица. Обнявшись спали, он ничего не почувствовал.

— Прекрасная смерть! — Я закурил папироску и погрузился в мечты.

*

Пошли погулять с ребеночком. Солнышко светит, а в скверике почти нет никого. Ребеночек играет, бегает, что-то для себя поет...

Для чего же я родил тебя, думаю, милый мой, ведь на какую муку, на медленную казнь! Добро бы глупеньким рос, так ведь непохоже, что так, любопытен очень ко всему.

Да как я посмел, Господи! Ведь под крылом у меня, не знает, не знает еще ничего, не знает, что для галеры рожден!

И волосы на голове зашевелились.

*

Почему я прячусь? Они убили всех свидетелей, а оставшихся убьют. Но нельзя допустить, чтобы не осталось свидетелей. Оттого и прячусь.

*

В квартире перемирие: самая воинственная соседка приехала с похорон брата, расслабленная и поте-

рившая интерес к коммунальной борьбе (увы, по опыту знаю, что ненадолго).

На кухне начались разговоры.

— Давайте, — говорю, — жить в мире и дружбе. А то ведь я коммунист, и как построим светлое будущее, — шучу, — так вас и не пущу в него, скандалистов.

— С... я хотел на твоё будущее! — сосед отвечает. — Ты мне щас квартиру давай, а не когда сдохну!

— На кухне ты смелый, — посмеиваюсь.

Он сразу осекся.

✱

— Русская литература! Ау!

— Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!

(Голоса из ресторана).

✱

Искусство, ставшее средством, вырождается. Искусство может быть средством только для гения.

✱

Русские выиграли битву на Куликовом поле. Их разбили на Куликовом поле... души.

✱

...Мало математики, мало литературы, мало искусства. Хочется приложить душу к невидимому стеклу, к незримой, но чувствуемой грани, чтобы ее пронизало Вечное.

А то всё догадки, намеки, скульптуры.

✱

Как удивительно и символично то, что до пятого века Христос изображался на кресте ликующим! Очевидна здесь глубина религиозного чувства, ударение

делалось на важнейшем: смертью смерть поправ Богочеловек. Это было первохристианство, радостное и побеждающее верой. Миг, когда заметили неестественность радости на кресте и Христос стал страдающим, есть миг падения веры, перенесения удара на человека в Богочеловеке. Церковь устремилась к светской власти над миром. Обмирщение религии неумолимо повело к возвеличиванию человека, к забвению Бога, к разрушению гармонии высшего и человеческого. Душа потеряла отца, неизмеримо большего, чем она, — духовное как первопричину и смысл. Оторвавшись от Богочеловека, человек оказался без животворящего отношения я — Ты, но не смог существовать без него. Настало время религии человека, время марксизма, — кривого зеркала христианства. На практике религия человека должна была прийти к обожествлению его, и он был обожествлен, он стал кумиром, ему была вручена полная духовная и светская власть, все эти атрибуты земного бога. Пришли ульяновы, джугашвили, шикльгуберы.

Все они, боги на час, ревниво отнеслись к сопернику — христианству, боролись с ним, гнали, избивали, но не как, например, католики-ортодоксы гнали иноверцев, — не как представители истинной веры поклоняющихся неистинному богу, нет: новые боги изгоняли Бога, они чувствовали себя на равных с Ним, чувство это усугублялось отсутствием какого бы то ни было представления о духовном и истине. Что бы ни говорили марксисты, но истина исключена из их символа веры: им чуждо творчество.

*

Систематизируя и добиваясь последовательности рассуждения в понятиях, чувствую, что глупею.



— Недоказуемость бытия Бога не есть ли намек на другой путь...

— Вася!

— Путь интуитивного познания, минуя случайные понятия...

— Вася!

— Случайные, ибо определяемые вновь и вновь...

— Вася!

— Что, Смерть?

— Полно, милый! Ложись спать, утро вечера мудренее.



..Поистине, отцы Церкви пишут, будучи влюбленными в Бога. Как они многословны и однообразны, без устали повторяя святые имена. Им каждый намек на божественное сладок; наверное, их речь была полна убедительности и обаяния.



Самое страшное порождение совдепа — нынешняя православная церковь. Она забыла главное: Богу Богово. Какую истину она может преподать, благословив убийц и предав собственных служителей? Она отсекала члены, чтобы сохранить тело, но отсекала и сердце... и стала трупом. Как человек остается человеком в известных пределах, а их преступив — не человек, так же и церковь погибла, спев Многая Лета сапожнику. Вряд ли это была стратегия... я думаю, причиной краха была трусость церковников вследствие неверия или слабой веры.



Нынешнее православие, лишенное религиозного энтузиазма, оказалось в положении первохристианства, гонимого, избиваемого, преследуемого. Но русское православие не может противостоять государству. Оно

развращено комфортабельностью предыдущих столетий. Изгнанное государством, оно кинулось обратно, к материальному достатку под контролем атеистов. Христос вторично был распят, теперь уже — церковью.



На бульваре сидели молодые люди и читали учебники: кончившие школу готовились в институт. Я наблюдал за ними и видел на лицах всё последующее и предыдущее... Вот, думали, кончим школу и... о, сколько путей! Мы начнем жить! Ура, поступили в институт! Кончим институт и начнем жить! Кончили институт и поступили на работу. Ничего, год-два потерпим, затем повышение, интересная работа, начнем жить! Потерпели десять лет, нечаянный флирт кончился женьбой, пошли дети... Ничего, получим квартиру, дети подрастут, и начнем жить!.. А вот теперь дачу купим и начнем жить... Еще чуть-чуть, купим машину и... начнем жить...

И тут они спохватываются, что жизнь прошла и не началась. Она и не могла начаться: полное безмыслие, полное безволие, всё руководство внутренней жизнью препоручено внешним событиям, безликой случайности. Детей тоже воспитать не смогут: пустой дом, пустые души, школа отнимет детей и растлит.

Так мертвец передает свой факел потомку-мертвецу; если не осенит небо одно из звеньев, не прервет цепь, то она всё толще и ржавее с каждым поколением, всё невозможнее и человек.



Едешь в поезде, а в окне равнины, леса, безлюдье. И неожиданно вынырнет из-за леса церковка, белая, как сахар, с зеленым куполом. Поманит и напомнит о многом.

И тогда тепло на душе.

*

Я боюсь одного: свобода опаздывает, она может явиться, когда русская нация *перестанет существовать*.

Что связывает ныне русских?

То, что *было* сотворено: иконы, соборы, книги. Мы туристы в России, только экскурсия наша — во времени.

*

Изгнаны были торгующие из храмов, но как быть с торгующими храмом?

*

«Владыка Минский посетил родную деревню, отслужил молебен в храме и произнес проповедь. Вот, сказал он, когда я уехал из деревни в семинарию, то дома были крыты соломой, а на улицах была грязь. Теперь дома́ ваши покрыты шифером, дорога мощеная, а на крышах видны телевизионные антенны. Всё это *дала вам Советская власть...*»

Так и пропечатала в своем журнале московская патриархия, видимо, как образчик современной гомилетики, в поучение другим владыкам.

Представил себе этот молебен: свечи, кадило, облачение, мерцающее золотом, полковничьи сапоги...

*

Они уничтожили религию и по другой причине: чтобы у жертвы не было ни проблеска надежды, чтобы они могли сказать: мы убиваем тебя *навсегда*. Это сильный аргумент.

*

Ни в одном правительственном заявлении нет и тени государственного разума. Правительство так же безвольно, как и народ, оно удавило Чехословакию инстинктивно, испугавшись свободы, — есть клыки, значит, им нужно дать и дело. Им двигал страх тюремщика, которому остался год до пенсии.

В чем дело? Воля отдана людьми абстрактному учению, идеологии, людям осталось лишь выполнять ее предписания. Однако чем меньше верят этой идеологии, тем дальше от нее реальная жизнь, тем запутаннее и темнее эти предписания. Идеология становится всё более внешней, всё более насильственной; она уже штыками добывает себе для пропитания кровь и умы.

*

Издали повесть француженки Бовуар «Легкая смерть». Читаю и чувствую какой-то задний смысл... и понял, наконец; она описывает смерть своей матери, но когда мать ее умирала, а повесть еще не писалась, Бовуар ухаживала за умирающей и — сто против одного! — думала: вот мать умирает, а я всё это в повести опишу, и какая будет хорошая повесть.

Это ли творчество... Это — истлевшая совесть.

*

Один знакомый, закончивший университет, спросил меня: Ветхий Завет — часть Нового Завета, или наоборот?

Образования не дает ни школа, ни институт.

Школа каждодневно разрушает сознание. Ведь как бы там ни было, но ославленный предмет Закона Божьего в старой школе давал понятие о человеческом роде, о смерти, о вечном, у кого-то да возникало ощущение принадлежности к человечеству и его истории.

Что преподают ныне? Ничтожную историю, ничтожную литературу, поколение за поколением растет в тупости. История сведена к одному: одни убивали других, иногда прогрессивно, иногда реакционно; *мы, прогрессивные, советские люди всегда убивали, убиваем и будем убивать правильно.*

Слава Богу, эти серые мошки, агитаторы-учителя, лишены проповеднического дара.



И всё-таки... всё-таки жизнь поступает справедливо: одним, умелым добытчикам, дает комфорт, но и бесплодность, но и бессилие ума и воображения достается им же.

А если душа не потеряна, если разум не отягощен приобретениями... то вот ночной луг... чистый ветер, серебряная луна... и звезды. И на лугу пасется молодой конь... забыто дневное ярмо, не потревожит коня ни комар, ни овод.

Луг этот — вечность, конь — душа моя.

Душа приучается к бессмертию своему.

Разрушение тела не будет для нее неожиданностью, обломки не задушат ее.

Всё так, всё так, Господи, спасибо Тебе.



...Наилучшее состояние для души — состояние добра. Но оно наступает, когда забываю о многом, когда натешусь игрой ненависти.

Помнить о всех мучимых, сострадать им и пребывать душою в добре — вот недостижимый идеал.



Вряд ли русская Церковь обретет многих, отпавших от коммунизма, во всяком случае, не сразу. Рабство мысли, от которого освободился отпавший, живо в памяти, и оно бросает тень на любую веру; вера воспринимается как принятие авторитета. Но душа еще не насладились вполне свободой самой по себе, отрицательной, разумеется, свободой. Поэтому ныне процветает скептицизм, я бы сказал, благородное неверие.



«Семья должна воспитывать коммунистическую нравственность у детей...» (радио).

— Э, нет, позвольте, тут, верно, что-то не так, тут уж, точно, ступайте к е... м...!



Сначала все верили в Бога, затем стали доказывать или опровергать бытие Его наукой, потом впали в солипсизм (простительный, если речь идет о Высшем!) и объявили Бога продуктом сознания. Да, да, человек выдумал себе Бога, да, да, только откуда всё-таки взялось то, чем Бога выдумывали, опровергали?



Европа, видимо, хочет быть похищенной вновь. Только напрасно она думает, что быком опять станет кто-то превратившийся. Больше превращений не будет.



— За этот пустыяк, который я сказал о французской военной промышленности, мне заплатил 200 рублей! Я польюбил эта страна, эти хороший славьяне!..



Замирая сердцем, русские следили за освобождением Чехословакии. И вот сердце опустошено: совдеп растоптал свободу.

Русские надеялись и посматривали: как-то у них, у чехов, выйдет. Они думали, что свобода будет доставлена другими. Деспотию можно одолеть только всем миром, но прежде должно очистить души и сердца от рабства.



Кинофильм «Мертвый сезон». Это новые веяния, здесь подлость тонка и незаметна. Удивительный есть в нем момент, когда советский шпион настаивает, чтобы священник нарушил *тайну исповеди*. Конечно, только невежественному, советскому автору могла прийти в голову подобная коллизия. Шпион с испариной на лбу взывает к совести священника, чтобы тот *забыл о долге*. Изображена мучительная борьба в душе священника между чувством долга и сознанием правоты шпиона! И долга он своего не нарушает: отсталый священник.

Самое смешное, что верность долгу вызвана здесь потребностью сюжета: если б священник выдал тайну, кино кончилось бы, а впереди еще сорок минут...

Удивительно! Удивительно! Правило жанра утвердило высокое!



Первое татарское иго длилось, говорят, 300 лет. Второе длится уже 51 год. $300 - 51 = 249$... нет, не доживу.



В газетах поздравления по случаю «*национального праздника*», т. е. годовщины октябрьского переворота; поздравляет американский президент...

Невыразимое отвращение охватило меня из-за того, что я русский, для которого торжество тирании, видите ли, *праздник*. Впрочем, и американцем стать не захотелось: оказывается, они думают — из дипломатических соображений — что можно праздновать *рас топтание свободы*.



Тлящаяся надежда не позволяет взглянуть трезво на действительность и принять ее. Она ужасна: в результате деятельности коммунистов русская нация больше не существует.

*

— Политика — синоним безнравственности.

— Отчего же?

— Так ведь, делая ее, президент свободной страны поздравляет тиранов с узурпацией власти народа как с национальным праздником.

*

...Я представляю себе Василия Васильевича Розанова в очках, в домашнем костюме... за нумизматикой. Умный, неторопливый собеседник с монетой в руке — знаком могущества, исчезнувшего лет триста или семьсот назад.

Как дорог мне В. В. Его неторопливость и, я бы сказал, основательность, то, что он крепко стоит на земле, придает мне уверенность.

*

Встретил Смерть Невского района. На пальчике кольцо с бриллиантом, на ногах ботинки импортные, коса серебряная с ручкой из красного дерева, в глазницах изумруды блестят.

— Что ты расфуфырилась так, милая? — спрашиваю.

— Я теперь, — говорит, — в Кремле работаю.

*

Час назад оторвал глаза от блокнотика и поймал на себе внимательный, изучающий взгляд парторга. В лице я, надеюсь, не изменился, но сердце стукнуло. Не торопясь, отложил блокнот и погрузился в деловые бумаги. Краем глаза увидел, что парторг отвернулся.

Слава Богу, работа у меня не секретная.

*

Разбежаться бы и биться головой о стену: раб!
раб! раб!

*

— В качестве богини Конспирации я предложил бы огромную матрёшку.

*

Подарил милой моей жене розу. Она радовалась ей, и я радовался, любясь женой и розой. Какой тихий, счастливый вечер: жена с цветком и ребеночек. Так, так, спасибо Тебе.

*

Я люблю состояние созерцательности и размышления. Но так редко, так редко это бывает.

(На партсобрании).

*

Мышление мое целиком метафизическое. Может быть, вследствие желания восполнить недостающее: покой.

*

Мне пришлось однажды иметь дело с порядочным мерзавцем. Он был еврей, и в своем отчаянии я почувствовал соблазн (древний, таящийся, неистребленный!) кусать всех евреев вообще, поскольку предмет моей злобы был защищен, а долго ли оскорбить случайно встреченного и напитать тем свою злобу?..

Этот случай послужил мне хорошим уроком.

*

Стою на улице, у стенда с газетой, портреты начальства рассматриваю.

Слышу разговор за спиной:

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

— Ну и рожи, совершенно разбойничьи!

— Да, эти Пажеского корпуса не кончали...

Я обернулся. Двое молодых людей, студенты, наверное. Улыбнулся им. Они посерели лицами и быстро пошли.

В который раз огорчился за свое лицо и выражение его.

*

В магазине подошел подвыпивший мужчина, моего приблизительно возраста.

— Слушай, дай двадцать копеек!

Я. Не дам. Мне не нравится твое лицо.

Он (*с изумлением*). Ах ты сука!

*

Каким образом оппозиция может противостоять режиму? Ведь для госбезопасности — работа, служба; для интеллигенции — энтузиазм и бессонные ночи. Энтузиазм истощается. Работе должна быть противопоставлена работа же.

*

Поклоняясь богине Конспирации, восемь часов ежедневно приношу ей в жертву свое лицо.

*

Я вижу новые горизонты, но не с чем к ним идти. Нет и других, которым есть с чем идти, за которыми прошел бы и я след в след...

Он был и остался одиноким.

Он перешел границу старой русской литературы, он открыл дверцу в хрустальном куполе, там, где этот купол соприкасается с землей. Многое увиденное и записанное им понять невозможно, но чувствуешь до озноба в спине, — приобретаешь на некоторое время новые глаза.

Необжитая бездна получает очертания.

Не обязан ли он новым своим сознанием витавшей над ним смерти?.. (Прости мне, Господи, эту мысль).

* (О Мандельштаме).

Воспитанный вкус, помимо положительного, прямого своего назначения — наслаждения красотой формы или высокого смысла (что в великих творениях одно и то же), — играет еще и роль охранителя ума от литературного мусора. Он предполагает некоторую брезгливость, заставляющую откладывать книгу, в которой необязательно читать каждую строчку.

Ныне вкус должен быть строгим чрезмерно, ибо у души не осталось почти защитников перед каждодневным натиском ничтожного; вкус заменяет теперь павшую свободу мнений, критики, естественного соперничества талантов.

*

Несчастье России и в том, что ее история не знала духовного авторитета, независимого от государства. Здесь то отличие православия, которое отпечаталось в каждой душе: западное христианство возникло и утвердилось *вопреки государственности*, православие — благодаря ей.

Может быть, вот путь: христианство вопреки режиму и его церкви...

*

...Вот и вино. Что же, это ли избавляет от глубокомыслия или легкомыслия? Разве изменившийся почерк ввергнет меня в отчаяние, которое давно стало единственным моим настроением?

Разве не должен я быть благодарен вину? Три глотка — и я отношусь к невыносимой жизни легко, весь ужас растаивает как дым! Конечно, я предпочел бы кое-что другое алкоголю, но есть у меня только алкоголь. Да здравствует алкоголь!

*

— Как вы думаете, можно ли нажить себе живот на дистрофии другого?

— Да... если один будет съедать порцию, предназначенную для двоих.

— Грубо. А вот обратите внимание...

И он указал на книгу Лёвы Задова «Подвиг поэта» (о Блоке).

(В книжном магазине).

*

В ОТПУСКЕ

Как я наслаждаюсь отдыхом! на берегу! моря! Как овеивает меня ветер! Наступила та полоска жизни, когда я ничего не записываю, потому что *живу!*

*

Приснились глаза жены. Были они на небе, огромные; небо чистое, предрассветное. Глаза смотрели на меня, полные сострадания и любви.

Я совершенно не боялся, что они такие большие.

— Эй! — крикнул я и помахал им рукой.

Они улыбнулись мне.

*

Когда приходит моя милая жена, Смерть прячется.

*

— Вы, конечно, читали повесть «Зеленая баржа»?

— Нет, не пришлось.

— ?!

— Да, да... а вы читали...

— Где?! Где это напечатано?

— Давно уже напечатано. Есть в библиотеке.

— А! в библиотеку...

Разочарование.

Чтобы прочесть книгу, нужно идти в библиотеку, а журнал на дом приносят. Лопают, что дают. И вот никакого вкуса, ни одной строчки не найдено, от которой ёкнуло бы сердце: не видят. Торжествует накопительство вздорных имен, пустых заглавий, грошевых намеков на то, «как всё плохо».

— Какой психологизм!

Да ведь нет никакого.

Так-то и растрчивает интеллигенция нелегкие и немногочисленные свои годочки.

*

Мы живем в общей камере. Есть и одиночки. Есть еще и карцер. Есть камера смертников.

*

Смерть Яна Палаха. Так, так мы воспитаны... волю и действие поворачиваем против себя. И русские, и чехи неспособны к борьбе. Ведь чего хотел милый Ян? Должно быть, увлечь народ и смутить оккупантов. Но жест отчаяния не подвигает на борьбу, народ лишь страдает. Отчаяние же... и было целью палачей.

Страдание народа собралось в фокус... луч упал на Яна. И он вспыхнул.

И что написала безнравственная советская пресса... что он сторел по указке врагов социализма...

*

— Вы скоро опять будете нам завидовать, — сказал мне один еврей, — нам есть куда ехать.

Да, да. Нам, русским, ехать некуда.



А вдруг Помпиду рожден, чтоб сделать сказку былью? Трепещите, французы!



Надзиратель идет по коридору, спускается по тускло освещенной лестнице, отпирает огромную дверь, идет дальше; стены покрыты плесенью, вот он отпирает двойную чугунную дверь, идет по узкому-узкому коридору, где двоим не разминуться, тройным ключом отпирает узкую и низкую дверь, идет, пригибаясь, по коридору, подходит к двери камеры и заглядывает в глазок; затем он отодвигает засов, откидывает крюк, отмыкает цепь, тройным ключом отпирает замок и входит в камеру:

— Иванов!..

Робкий голос: — Здесь я, здесь!..

Надзиратель (*презрительно*): — Тфе! Куда ты на х... денешься!

Запирает камеру и уходит.

(*Анекдот*).



Он не хочет писать в стол, он будет писать в кошелек.



Жить в обществе и быть свободным от общества — нельзя, — заметил мой приятель бес Гуго, посетив Лубянку.



— Человек! Что такое человек? Это не ты, не я, не оно, нет! Человек! Это я, ты, оно, Наполеон.

В театре ли я?

Реалист Пешков вывел поистине вечных людей, их можно найти в каждой современной пивной.

Только он их приукрасил, потому что был романтик.

*

Как я отдыхаю за чтением старой книги... мне дороги люди, полные оригинальности, собственных мыслей, живых чувств. Да, они жили, но они внимательны, добры и в будущем, ставшим для меня настоящим, — мне позволено жить вместе с ними. Сейчас поздний вечер, в моем углу тихо и безопасно. Этот отдых необходим, иначе наутро не выдержать встречи с моей страшной судьбой: быть стертым пяточком партийной кассы.

*

Если в России и родится великий писатель, то лишь при трех условиях: гений, вкус, конспирация.

*

— Реализм для нас — самое святое!

— Хе-хе... То-то кругом вас арестанты, а вы изображаете розовощекого спортсмена в яблоневом саду...

— Конечно, нам не чужд романтизм, завещанный великим Пешковым!

— Хе-хе... Вы, оказывается, кругом правы...

*

Интерес русских к своему прошлому, — действительно ли это признак возрождения... не есть ли это причащение нации перед смертью?..

*

Будет ли когда написана история России? Сколько теней выйдет из подвалов, сколько великого мужества увидим у людей, казненных не на эшафоте, не на глазах мира, когда смерть красна, а в глухом застенке, откуда не донесется ни прощения, ни проклятия: здесь принята смерть наедине с харями.

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Тогда-то и прочтем всё и узнаем Ульянова, сапожника и их службу.

И не найдется такого писателя, который написал бы трагедию России: этот жанр присвоен историографией.

*

— Смерть, сколько мне жить осталось?

— Вася, противный! Посмотришь в зеркало, прежде чем спрашивать!

— Интересно же. Семнадцать?

— Холодно-холодно!

— Девятнадцать?

— Еще холоднее.

— Пятнадцать?

— Теплее, теплее.

— Двенадцать?

Так и играем в долгие зимние вечера.

*

Впрочем, чего добились коммунисты? Единственного: конспирация становится национальностью.

*

Пушкин, сю-сю... Гоголь, сю-сю... Достоевский, гм! гм! Толстой, гм! сю-сю... Гумилев, гав-гав! Мандельштам, гав-гав!

Ульянов, гений! гений! гений!!!

(Советская история русской литературы).

*

Ходил на выборы. Пройти в кабинку под напряженными взглядами избирательной комиссии. «Одного кандидата оставьте, а другого вычеркните» (это нов-

шество). Гляжу, а кандидат-то один! Пошел к кабинке... а ноги сами мимо нее понесли, к урне. Поднял руку, чтобы опустить.

«Зачем всё это?! Не хочу, не хочу!»

И опустил.

Весь день ходил, как оплеванный.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КАЛЯКИ

Тут Ульянов вышел к ним и говорит: товарищи, рабочие и крестьяне, власть теперь у вас в руках. Давайте-ка ее сюда!

Вот как получилось.

*

— Гуго, ты хорошо Ульянова знал, бес-хранитель... отчего у него детей не было?

— Я тебе на ухо скажу...

Гуго зашептал. Волосы у меня встали дыбом, перо выпало из ослабевшей руки...

*

«Лучше бы ничего не знать! Лучше бы ничего не понимать! Жить, как все живут!»

Это сказал мне один интеллигентный и милый человек.

Как же надо измучить его, чтобы он так подумал.

*

От холода мы защищаем тело одеждой. Что же удивительного, что, защищая душу, носим на лице маску раба?

(Ложь).

*

Россия непригодна для жизни человека.

(Правда).

*

Похороны Паустовского. Единственный искренне горевавший человек был председатель горсовета Тарусы.

— Костя! — кричал он и бил себя в грудь. — Зачем ты ушел, Костя! Канализацию ты начал бить, Костя! Водопровод начал бить! Почему же все великие самого главного своего не доделывают, Костя?!

(Рассказ моего приятеля).

*

Раньше я всю очередь выстаивал, за хлебом или молоком. А потом со Смертью подружился, так она мне всё без очереди покупает. Никто не замечает ее, а кто и видит, помалкивает: боится.

*

Не везет французам: то Петен, то Помпиду.

*

Около вокзала подошел мужчина с отеком лица, подвыпивший, лет ему под сорок, ровесник.

— Извини, товарищ... дай тридцать восемь копеек! Я подумал: пиво? сигареты?

— Почему тридцать восемь?

— Не хватает!

Дал ему пятнадцать копеек.

Он недоуменно посмотрел на ладонь:

— Мне тридцать восемь нужно!

— Ну уж... что уж ты так...

Он спохватился:

— Извини, извини! Спасибо.

Начинающий.



Всё-таки Ульянов удивителен. С высыхающим мозгом, одной Чекой... невероятно!



Он, гений, сам творил свою судьбу. Его единственного убили за преступление: он был свободный дух и не мог не преступить отчеркнутой сапожником границы.

Остальных убили пронумерованными.

(О Мандельштаме).



Упав в яму, не надейтесь, что и звезды стали ниже.



Вечером вдруг из переулка визг отчаянный доносится, нешуточные крики:

— Помогите! Помогите!

Причем женский визг.

Я галстук поправил и — в переулок.

Гляжу, этакий верзила (рожа совершенно бандитская) крепко ухватил Смерть и пытается насильно овладеть ею. Смерть визжит, вырывается. Куда там!



Люди не хотят свободы, поняв ее только как незаполненность, как нехватку чего-то. Принятие духовного дает ощущение несвободы для Духа. Вот основание для приобретения внешних свобод, политических.

Не нехватка чего-то есть предпосылка для принятия высших ценностей; тут начинает игру случай, этот путь уже испробован: принятые ценности оказались ложными, Россия была ввергнута в страшное рабство.

Нет, свобода для высшего дана сразу, творчество дано здесь и сейчас. Должна быть обретена внутренняя свобода, затем осуществляющая себя вовне.



Беда в том, что человеку не позволено быть частным лицом. Если б я уволился с работы, то автоматически стал бы преступником: явились бы и взяли бы с меня подписку как с *тунядца* об устройстве на работу. Неповиновение привело бы к *принудительному* направлению на работы на три года, куда кто-то сочтет нужным. Я пронумерован и *прописан*, т. е. прикреплен к месту жительства. Всё продумано, от них не ускользнешь.



Вот уже и к сорока годам пришло время, и солнце мое в зените, скоро склоняться ему, близок мой закат. Я оглядываюсь и вижу: что же, нет у меня ничего, нищий, обобранный, про черный день ни гроша, ни угла своего.

Увидев это, чувствую веселую беззаботность: ничто не бременит. Вот милая жена моя, ребеночек милый. С милою сколько лет превозмогли, и какой жизни? Вот и подарок, что не слоняюсь по больницам да каторгам.



- Каляка, а почему у Ульянова детей не было?
- Наш он был, наш! От волос до кончиков ногтей!



Один мужчина обольстил Смерть и долгое время изменял с нею жене. Однажды жена пришла раньше, чем рассчитывали любовники, и застала их в постели. Муж побледнел, Смерть от страха под одеяло залезла,

лежит там, костями стучит. А жена разделась и шмыг в кровать!

— Ой, — кричит, — ты что, льда в кровать наложил?!

Смерть к стене прижалась, ни жива, ни мертва. Потом осмелела, глядит, а супруги уже в экстазе слились.

Тут она обоих и скосила.

*

Они многого хотят: спаивают народ, получая денежки; не давать ему пить, чтобы он работал; но поить надо, чтобы народ спьяну работал задаром; но и не поить, чтобы он работал хорошо.

Итак, они хотят, чтобы народ не пил, но покупал водку и работал бы пьяный даром и хорошо.

У них государственный не разум, а инстинкт.

Мы живем в инстинктивном обществе.

*

Юпитер, говорят, выражал свою волю движением бровей. А наш-то всё говорит, говорит. Знать, не Юпитер.

*

— Смерть!

— Да, Васенька?

— Смотри-ка, что о тебе говорят. «Когда мы существуем, Смерть еще не присутствует, а когда Смерть присутствует, тогда мы не существуем».

— Что за вздор, Васенька?

— Слова Эпикура.

— Эпикур... не помню... Давно, должно быть, умер.

— Давно.

— Видимо, не любила его, вот и не помню.

— Ты многих любила?

СМЕХ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

— Несколько... конечно, из тех, кто меня любил. Тебя, Васенька, люблю.

— Значит, трудно умирать буду.

— Да, Васенька, очень тяжело. Ведь мы с тобой навсегда расставаться будем...

*

Что связывает русских? Чутьочка прошлого. Что разлучает их? Всё настоящее.

Русская нация становится национальностью, корни у нее сгнили: ни городской культуры, ни крестьянского чувства земли. Ни город... ни деревня... так, провинция...

*

Я не склонен переоценивать прошлого России: из него выросло нынешнее рабство. Видимо, нужно бы вновь пойти учиться... Только если и выпадет России пойти, то... дойдет ли? Нация должна дать энергию для ученичества, для самопознания, но корни-то сгнили, где взять силы для чтения, понимания. Нация истерзана пытками и издевательствами, учиться нет сил.

*

Коммунисты украли у России (на сегодняшний день) пятьдесят лет истории, у человечества — пятьдесят миллионов жизней. По миллиону в год скармливали своей доктрине.

ОТКРЫТИЕ ИНТЕЛЛИГЕНТА

— Я открыл, как победить Голиафа!

— Ах, неужели?!

— О, я открыл... Я знаю, что для этого нужно. Это будет прекрасно. Мы освободимся, наконец, от злого гиганта, наши семьи перестанут дрожать за себя и за нас!

— Скорее скажи, как победить Голиафа! И я готов помочь, говори же!

— Я верю, что Родина не забудет меня, открывшего верное средство, которое доставит всем нам свободу!

— О, не томи, говори скорее!

— Ведь всё дело в открытии, не правда ли? Было бы несправедливо, если б я умер в неизвестности, незамеченный в толпе вокруг поверженного чудовища!

— О, конечно! Мы гарантируем тебе памятник!

— Памятник?.. Итак, для победы над Голиафом...

— Ах, не молчи!

— Мраморный? Ведь всем известно, как трудно победить его!

— Да, да, мраморный!

— Но я сейчас скажу, как это сделать!

— Ну же!

— Чтобы победить Голиафа...

— Говори!

— Нужен...

— Ах!

— Давид!!!

*

Чувствую, что-то копошится в кармане. Сунул руку — тёплое что-то, пушистое; и вытащил бесенка! Урчит, укусить норовит, извивается. Но я держу его крепко.

— Ты чей? Бес Каляка тебя прислал?

— Какой еще Каляка! Пусти!

— Ага, посторонний. Я тебя сейчас крестом осеню.

Он завизжал, закрутился и вырвался. Гляжу — вверх по улице бросился, к Лубянке. К своим побежал.

*

Как быстро бежит время! Вот уже и пятьдесят два года отсидели.

*

— Смерть, милочка, а есть ли средство спастись от тебя.

— Есть, Васенька, одно-единственное, но есть.

— Скажи, а?

— Что ты, Васенька, ведь меня тогда не будет.

— Да я и не воспользуюсь им, честное слово. Просто любопытно.

— Нельзя, Васенька. Ты богом станешь, а погляди на себя в зеркало: ну, какой из тебя бог? Сказать правду, так стыд и срам.

*

Идет пресс-конференция. Иностранные корреспонденты задают вопросы советскому премьеру.

— Г-н премьер-министр, нам известно, что у вас на некоторые товары подняты цены. Как вы объясните этот факт?

— Да, изменение цен в сторону повышения имело место... но должен сказать, что на благосостоянии советских граждан это никак не отразилось.

— Правда ли, что Советский Союз увеличил свою помощь слаборазвитым странам? Если да, то как отразилось это на благосостоянии советских граждан?

— Да, действительно, мы решили увеличить помощь слаборазвитым странам. Но должен отметить, что на благосостоянии советских граждан это никак не отразилось.

— Известно, что рубль претерпевает инфляцию. Что вы скажете об этом?

— Да, золотое содержание рубля несколько уменьшилось. Однако на благосостоянии советских граждан это никак не отразилось.

Тут вскакивает молодой журналист, впервые приехавший в Россию, и кричит:

— Да что ж это их ни черта не берет?! А вы дустом, дустом не пробовали?!

(Анекдот).

*

— Смерть, когда ты меня скосишь?

— Это, Васенька, профессиональная тайна.

*

Однажды Помпиду гулял по-над ямой, где сидели арестанты. Он, конечно, не знал, что это за люди там сидят. Ах, если бы знал! Он ведь всегда на высоте, недостижимый для сомнительно выглядевших людей в яме. Оборванные, грязные, заросшие, разве порядочные люди могут так выглядеть? Однако Помпиду поступил так, как подсказала ему совесть: позвал сопровождающее лицо и спрашивает:

— Кто эти люди?

— Где?

— Да вон в яме, в грязи.

— Не вижу.

— Да вон там, видите, сидят?

— Нет там никого, г-н Помпиду. Это вам кажется.

— А! — говорит Помпиду. — Я так и думал!

Вынул блокнотик и стал тост к вечеру с шампанским готовить.

ДО ЧЕГО ДОШЛА КОНСПИРАЦИЯ

Сижу, пью чай. Наливаю в чашку, сахар кладу, ложечкой размешиваю. Пью, одним словом, чай, но вместе с тем *как бы* его пью, то есть пью, конечно, вот и хлеб маслом намазал, бутерброд сделал, но в то же время *как бы* его пью, то есть вместе с тем его *как бы* пью.

(Подарок моего друга).

*

Хорошо, когда Бог неявен. Например, в слове *спасибо*.



Смотрю, сидят бесы на лавочке и греются. Я испугался: не пьяница вроде бы, что это вдруг?

— Бесы-бесы! — говорю им. — Вы настоящие?

— Настоящие! — хором отвечают.

— Что же я вас прежде не видел?

— А не было нас. Мы давно здесь дела сделали, от шофера до патриарха все наши. Теперь вот опять уклонисты от генеральной линии появились. Ты вот, Вася, например... с тебя и начнем.

Я засмеялся, а они забегали, пушистые, вокруг, зашвистели.

— Ох, уморили. Кыш, — говорю, — шалуны.

Крестным знаменем их осенил.

Они горохом посыпались и пропали.



Человек, подражая Богу, стал смотреть Его глазами на мир и не увидел Его. Значит, нет Бога. Поискал бы внутри себя.



Неопрятный, редко моющийся мужчина. Живет в грязи. Пишет стихи и всё-то ждет, что их напечатают в советском журнале и заплатят гонорар. Похотлив до неразборчивости. Глуповат, но чувствует поэзию в чужих писаниях, в своих вовсе лишен вкуса.

Неудавшийся добытчик.



Пешкову, конечно, можно кое-что простить за его «Несвоевременные мысли». Отчего потом он стал думать по-другому? Причина проста: тщеславие. Из почитаемого писателя он не хотел превратиться в запрещенного.

Поистине, он отец советской, кошельковой литературы: малый талант и безграничное тщеславие.

*

На работе согнали всех и читали лекцию о бдительности. Опять у них что-то не клеится.

*

После обеда Помпиду и Бровастый легли на кушетки поспать. А Бровастый только притворился, что заснул. Помпиду захрапел, так он подкрался, к горлу руку протянул и... погладил. Помпиду замурлыкал, ему, наверное, приснилось, что это жена его гладит.

«Ну, не задушить ли?» — думает Бровастый. «Нет. Еще пригодится. Сегодня рано. Послезавтра поздно».

*

...Удивительна судьба Александра Исаевича Солженицына. Он был молод, полон сил, но... война. Что же, воевал, командовал, и вдруг ввергнут во вторую бездну — в концлагерь; бездна всё глубже, вот уже и Смерть замаячила, неторопливая, постепенная: рак. И вдруг всё отнятое возвращено с прибытком! Литературный успех, близость ко двору... и вновь отвергнут.

А теперь того гляди подошлют ему наемных убийц.

*

Я не люблю яркой одежды. Я люблю серенький дрянной костюмчик. Наденешь его и растворишься в толпе. А то всё кажется, что рассмотрят, узнают, мысли в глазах увидят.

*

Пришла Тень Кукушкина.

— У-у-у! — завывала.

— Ты что? — спрашиваю.

— Проверить, не боишься ли.

Я рассмеялся.

— Кто же Кукушкин, хозяин твой?

— Нет хозяйина, — печально говорит Тень. — Умер.

— А был кто?

— Чёрт его знает.

— Каляка! Вот, говорят, ты Кукушкина знал.

— Знавал! — отвечает чёрт с дивана. — Мелкий служащий. Серая личность, не холоден и не горяч.

— Неправда! — гневно возразила Тень. — Прекрасный был человек! Я могу много интересного о нем рассказать.

— Вот как! — говорю. — Знаешь что, Тень, приходи ко мне завтра на работу. Там на равных поговорим.

*

Если б меня на том свете по ошибке в ад потащили, то я так бы возразил: «Люцифер! Ведь ты, говорят, справедлив и уж невинного не зажаришь. Так вот, ты, князь тьмы, должно быть, не знаешь, что я в коммунальной квартире жил!»

Люцифер смутится и скажет: «Прав он. Грешил, конечно, этот человек, но ведь он в коммунальной квартире жил! Эй, кто там! Проводить его до райских врат».

*

Хорошо, что я живу в России. Отбыл восемь часов на работах и иду себе домой, постояв в магазине за продуктами. Если день удачный, то в коммунальной квартире тихо, перемирие и перегруппировка войск. Часам к одиннадцати вечера освобождаюсь от домашних дел. Тогда я начинаю жить, и уж ни одна минута даром не пропадает, будьте уверены.

А в Европе? Виды, древности, Рим, свобода... Новшества, рассеянность, суэта!.. (Зелен виноград).



Однажды Помпиду проходил мимо дома с решетками в окнах, где на арестантах ставят химические опыты.

— Что это за люди? — спросил он.

— Где?

— А вон там, за решеткой?

— А, эти... это больные. Они не понимают простейших вещей. Например, что для достижения светлого будущего необходимо не совсем светлое настоящее... болезнь роста, так сказать.

— Это, конечно, новая болезнь?

— Ее открыли мы, русские. Сейчас русские ученые разрабатывают новые химические вещества. Достаточно ввести их в кровь, и человек становится счастливым. Некоторые умирают с непривычки.

— Как это интересно! — восхищенно вскричал Помпиду. — Вы, русские, всегда были удивительно любознательны!



Некто Пивоваров научил скворца говорить:

— Не убий!

Принес его на работу.

— Не убий!

— Это что такое?!

— Не убий!

— Чья птица?!

— Так ведь птичка-с, не понимает, что говорит!

— Не убий!

Провели дознание. Выяснилось, что Пивоварова птица. Убили обоих.



Всё-таки к алкоголю я отношусь с уважением. Он помогает мне. Я бы не пережил некоторые мгновения в моей жизни, если б не он.

В МЕТРО

— Ты что сидишь, как пень, старшего не видишь? — говорит старик мальчику. Тот краснеет, но места не уступает, я думаю, по растерянности или из чувства противоречия.

— Полюбуйтесь на него, а еще пионер! — кричит старик.

— Гадина какая! — откликается пожилой мужчина. — Я, будь моя воля, им всем *глаза бы повывадал!*

*

— Каляка, а ты видел Ульянова?

— Еще бы! И семью его хорошо знал. Мой приятель, бес Гуго, у него суфлером работал. Я и разговаривал с ним однажды. Что, смеюсь, Володя, нет Богато? — Нет, — отвечает, но почему-то смутился. — Как же, шучу, не зря тебе четверку по логике поставили в гимназии! Что же это, нет Бога... а я-то есть? А? — Тебе что, — говорит Владимир Ильич и смотрит на меня подозрительно, — Боженьку жалко?! Ах ты дрянь, сволочь идеалистическая! — Полегче, говорю, Володя, ты хоть наш, да не из наших! — Рассердился я тогда, серой на него фукнул. Он затрясся, посинел. Насилу с Гуго его откачали.

— А отчего у него мозги высохли, Каляка?

— Этого нельзя тебе знать, Вася. Еще разгласишь, а это наша профессиональная тайна.

*

Бывает и у меня праздник. Я готовлюсь к нему целый год, подкапливаю немножко денег и... с женою и ребеночком едем в отпуск.

На пляже, под тентом сижу я, плановик, спрятавшись как нельзя лучше среди купальщиков и загораю-

щих; нет ни соседей, ни начальства. На голове у меня панамка, солнце сквозь щели навеса иногда только касается рыхлого, стареющего раньше времени тела. Теплые и мутные волны бегут к берегу... жена с ребеночком плещутся и играют на мелководье. Должно быть, вид у меня — в панамке, с карандашом и блокнотиком в руках, с блестящими глазами и недоуменной улыбкой (всё это я вижу в зеркальце бритвенного прибора) — странен. Это — портрет вольноотпущенника на месяц.

*

До половины отпуска я думаю: Боже, сколько дней еще впереди! 25, 24, 23...

И каждую минуту каждого дня — смакую; все чувства и весь разум года жизни должны втиснуться в двадцать восемь дней.

Последние пять или четыре дня я с ужасом думаю: опять туда, в коммунальную квартиру, опять на службу, к начальникам?.. Сердце болит и ноет, меня трясет страх до синих ногтей.

Я начинаю готовить себя к наложению цепей: покупаю бутылочку вина; горечь возвращения в стадо постепенно растворяется. Я рисую себе то светлое, что есть в моей черной жизни: обеденный перерыв, суббота, воскресенье, похороны сослуживца (если удастся на них не пойти).

И вот я готов, и вот, смирившись, я еду на каторгу.

АМЕРИКАНЦЫ НА ЛУНЕ

Висит она над нами и беспрепятственно совершает идеологическую диверсию. Никак ее не убрать и не закрасить.

(Мнение одного приятеля).

*

- Вася!
- Что, Смерть?
- Я у тебя... первая?
- Нет, милочка, третья.
- А с теми что случилось?
- Одна утонула... другая отравилась тухлой рыбой.

*

Все читают повесть «Чего ему надо?» Я тоже взялся было, но не одолел и половины страницы. Ни одного слова, ни одной фразы, обычное сочинение графомана.

Конечно, интеллигенция чувствует себя неким сообществом, слоем, которому свойственны определенные черты; ей хочется посмотреть на свое отражение даже в запачканном зеркале. Так она тешит свое тщеславие. Ей свойственен и своеобразный мазохизм, и очередное печатное унижение доставляет ей смутное удовольствие.

*

- Скоро ли ночь кончится, Калякушка?
- Да никогда не кончится, Васенька.

*

Следствие страха — почтительность и даже уважение. Вот Гитлер, сапожник, Ульянов — сумели, а? (с оттенком восхищения). Это гении зла.

Гений зла, творец зла — не просто слова-гарпии, вроде такой бессмыслицы, как партийная совесть.

Они обнаруживают глубоко скрытое в человеке рабство, азиатское стремление пасть на колени перед вельможей и целовать ботинки ему; они обнаруживают любовь к насилию. Говорить о творчестве зла значит пренебрегать метафизикой.

Творящий гений — творит: жизнь, духовное, высшее.

Здесь синонимическая неопределенность, которая ведет к низкой философии: обаяние слова творчество переносится в сознании на предикат — зло.

Творчество есть создание Духовного из ничего, злое — уничтожение сотворенного. Вывод: творить зло значит творить ничто; грамматикой это оправдано, и начинается диалектика без предела и смысла. Результат печален: разрушается интуиция, то состояние духа, которое не совершает, может быть, физических открытий, но создает великую лестницу: я — ты — Ты — Дух.

*

Истину невозможно вывести. Ее чувствуют.

*

Может быть, миру предстоит пройти через полное и всеобщее рабство и очиститься, вот что брезжит в гении зла.

*

...если б православную церковь гнали, мучали, за-ушали, но была бы она чиста, то был бы с нею.

*

В отделе — одно лицо, на партсобрании — другое, с соседями — третье. Только вечером в комнатке, когда вижу ребеночка и жену и больше никого, чувствую, что появилось мое лицо.

Не жизнь, а насильственная артистическая деятельность.

РАССКАЗ СМЕРТИ

Один начальник пробовал меня подкупить. «Хочешь, говорит, двух вместо одного?» Нет, говорю. «А десятерых хочешь вместо меня одного?» Да нет же, говорю, мне ты нужен. «Да что ты, говорит, такие ребята, пальчики оближешь!» Нет, отвечаю, это у вас незаменимых нет, а ты у меня незаменимый!..

*

И у рабов есть своя каторга. Вот почему так скрытен.

*

— Пора, Софья Власовна, становиться европейской страной...

— Мррряа!

— Нельзя же так!

— Арррамч!

— Или нам просвещение не нужно? Жить бы мирно, по-людски, глядишь, тебя и уважать начнут, не только бояться!

— Ахрчм! (*Проглатывает собеседника*).

*

С Тенью Кукушкина мы расположились в кафе.

— Видишь ли, Вася... много лет назад Кукушкин полюбил одну женщину, не особенно красивую, но Тень ее была непередаваемой красоты! Вася, я полюбил ее, как только юноша может полюбить впервые, всем сердцем! Кукушкин бросил ту женщину, но я продолжал тайком встречаться с ее неразлучной спутницей. Однажды весной мы провели вместе прекрасную ночь... о, эта ночь любви! Мы заснули в объятиях друг друга. Когда я проснулся, рядом любимой не было, она ушла

с хозяйкой на работу. Солнце стояло в зените. Всё было кончено! Если Тень не возвращается к человеку до полудня, то навеки теряет его...

Тень Кукушкина горько заплакала.

— Откуда ты знаешь, что Кукушкин умер? — спросил я.

— Человек не может выдержать разлуки со своей Тенью... он умирает через семь дней...

— Не плачь, Тень! Давай выпьем по рюмочке.

— Давай! — всхлипывая, сказала Тень.



Внимательно читал я Солженицына... (о многом, несущественном ныне, умолчу). Власть исходила из своей природы, запретив его книги. Ведь вот и освобождение от страха за чтением же, — начинаешь чувствовать себя причисленным к славному братству эзков, братству гонимых. Открывает себя жизнь тайная, недоступная не арестованным: открывается знание... Читаешь об этой жизни, и кажется, что всё узнал, но нет, есть глубина глубже этой: дальняя, совсем уже незнакомая жизнь Натансона, древнего арестанта.

Россия с удивлением смотрит на саму себя.

А в будущем... что же, будущее, да...



17-го апреля субботник устроили, обожает Софья Власовна бесплатную работу.

Ну, все думали: зато 22-го выходной будет, все-таки 100 лет.

Ничего подобного. Всех на работу направили, а сами на банкете сидели, выпивали и закусывали, и всё это по телевизору показывали, как они выпивают и закусывают.

*

Одна уборщица, старенькая, говорит мне: — Раньше-то, если день святого какого-нибудь, так не работали, а нынче самого главного вашего день рождения, а всё равно работаете?

*

Всё прогрессивное человечество торжественно отметило столетний юбилей *палача*.

*

Как увидеть подлинное лицо русского человека? Неожиданно окликнуть его тихо, хотя бы в магазине, когда он протягивает руку за честно купленным товаром. Он обернется, и вы увидите испуг, чувство вины и некоторое подобие улыбки с ощеренными зубами.

*

...Воля должна вернуться в свой дом, в человека. Без нее мертвы догмы нравственности.

*

В практической доктрине социализма оформлены страсти человека, и как раз низкие страсти — жадность, зависть, заносчивость, прочее. Доктрина питалась страстями одних и могла насаждать благодаря этому те же страсти в других. Теперь фанатики исчезли, страсти сменяются другими страстями. Доктрина мертва, единственная опора деспотии — штыки и тайный сыск.

*

Сколько уж длится кровавый потоп, а всё не видеть ковчега.



С одной стороны, социализм, с другой стороны, — коммуналка... Нет, нет, товарищи, что-нибудь одно, и не уговаривайте, не согласен... Ну, хорошо, так и быть, уступаю вам, так и быть, выбираю второе, выбираю второе, а первое, так ну его в Африку!



Ныне официальный язык — эзоповский. Власть на нем изъясняется, и мы поднаторели. Скажут — усиливаем борьбу за мир, значит, надо разузнать, где ближайшее к дому бомбоубежище; скажут — неустанно заботимся о народном благосостоянии, — держи ухо востро, опять что-нибудь подорожает. Ну, а о расцвете демократии заикнутся... полезай в норку и сиди тихо, говори шёпотом.



А ведь печальная судьба: Пешковым начал, Пешковым и кончил. Высокое брезжило, но ускользнуло.



ИНТЕЛЛИГЕНТ (*гневно*). Если вы не перестанете надо мной издеваться, я... я...

СОФЬЯ ВЛАСОВНА. Мррря-ууу! (*Раззевает пасть.*)

ИНТЕЛЛИГЕНТ. Это противоречит Конституции! (*В величайшем гневе.*) Если вы не прекратите ваши издевательства, я... (*Решительно.*) Покончу с собой!!

СОФЬЯ ВЛАСОВНА. Ахрчм! (*Проглатывает Интеллигента.*)



Беседовал с Тенью Кукушкина о справедливости. Вдруг подходит знакомый.

— С кем это ты?

— Да вот так что-то...

— О чем же?

— Да вот так, просто так.

*

Вороньё по очереди взлетает на трибуну и каркает над мертвецами, сидящими в зале.

(На партсобрании).

*

Не стало анекдотов. Что-то зреет покрупнее.

ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ МУСОРЩИКОМ

Подходящий налог, налог за бездетность, партвзносы, профвзносы... Итого 125 рублей с копейками. По реальному курсу это 25 долларов, стало быть, меньше доллара в день. Неужто меньше, чем у нью-йоркского мусорщика?

Но у мусорщика есть одна вещица, которой он, может быть, не умеет воспользоваться (в отличие от *филадельфийского грузчика*), но она с ним в каждую минуту его жизни... А у меня ее нет, хотя она нужнее мне висячих садов и мешков с золотом... о, эта вещица... эта вещица — свобода.

*

Надежда, надежда! — вот мой яд, болезнь, проклятие...

*

Помню, в молодости я целое лето бродил по Кавказу и случайно набрел на одну из тамошних дач Джугашвили. Она устроена на обрыве, высоко над морем; дорога вьется вверх и приводит к туннелю, пробитому в скале, с крепкими воротами. Внутри меня поразили несколько дорожек, заводящие в каменные коридоры: стены всё увеличиваются по высоте, они выше, наконец, человеческого роста, а коридор кончается тупиком. По мысли строителей, тираноубийца должен заблудиться в этом каменном лабиринте.

Я вспомнил это сегодня, когда мой друг рассказывал о жалости своего приятеля к временщикам и сапожнику. Временщики несчастливы, говорит этот приятель, они боятся, они лишены полноты жизни. Ведь нельзя заставить бояться население и не испытывать страха самому. Это дано только фанатикам, но сапожник, но временщики — жестокие старички, чувствующие в глубине души, что совершали и совершают преступления, которые нужно скрывать, потому что вдруг найдется мститель, как нашелся неудачливый стрелок Ильин.

*

Чем глубже яма, тем выше звезды!

*

Любопытно, что слово воля имеет два значения... Сам язык подсказывает путь.

МНЕНИЕ ОФИЦЕРА О СОЛОВЬЕ

Дрянь птичка, супа для ребенка не сваришь! Горлышко двумя пальчиками раздавить — раз плюнуть! Шестимесячный ребенок задавит, а то и двухмесячный! Под колесо положить, так мокрое место останется, и то через пять минут высохнет! Да откусить ему голову и дело с концом!!

Но как поет... за душу так и хватает...

*

Существование личности неестественно в безличном советском обществе. В своей высокомерии безличные существа, все эти партайгеноссен, считают личность настолько неуместной, что дерзко прибегают к химическому способу уничтожения ее, не менее дерзко называя это *лечением*.

Им страшно верить в полноценность врагов.



Что это за величие, которое держится на псевдонимах. Если говорить просто: Ульянов, Бронштейн, Джугашвили, Пешков... как всё мелко, пошло.



Персона Ульянова, этого Зевса партийной мифологии, представленная во все времена, от кудряшек до гроба, должна, казалось бы, родить богатую апокрифическую литературу. Увы, только анекдоты. Абрам Терц написал, впрочем, смелой кистью очень милый портретик. Более — никто.



— Смерть! Смерть! Тяжело мне, скоси!

— Ты подумай, Вася, хорошенько. О жене, о ребеночке...

— Помню, помню, но не могу больше идти, помоги!

— День-то протерпишь?

— Не знаю...

— Я вечером зайду. Если не передумаешь, будь по-твоему.

Приходит Смерть вечером.

— Ну как, Вася?

— Повремени, милочка...

И так частенько.



...Тихое дыхание спящей семьи. Я один в своем уголке. Ни звука. И вдруг из тьмы вылетает ночная бабочка, делает круг над лампой и бесшумно исчезает.



Ах, как мир боролся с Христом! Но, отвергнув Христа, принял частицу Духа... намек на Него.

Несчастье в том, что Россия не узнала Христа; расцвет веры миновал ее, недоразвившаяся и усталая, она пала перед большевизмом.

А второе Пришествие... чудо не бывает двукратным.

*

Господи, где искать помощи, Господи, не могу нести больше, Ты видишь ли рядом со мной бездну? Не слишком ли отчетливо явлено мне страдание? Что же, опять черпать силу в себе, а силы уже и нет нести дальше! Как мне защищать, когда сам незащищен! Господи! Свиною кожу подари, в свиною кожу одень, Господи!..

*

— Смерть! Смерть!!!..

— Что, что такое, Васенька?!

— Ох, Смерть, как я испугался. Мне показалось, что я совсем один.

ПИР

Я жду своих друзей, сегодня день у меня торжественный... Звонок. Я открываю дверь и встречаю Смерть, беса Каляку и Тень Кукушкина. Они не с пустыми руками. Каляка несет ящик шампанского, Тень — большой кусок сыра, а Смерть — косу.

Бокалы полны. Первое слово принадлежит мне, хозяину этой комнаты, приютившей сегодняшнее собрание.

— Друзья мои! Я взволнован и рад, что в этот день все мы собрались вместе. Нет ничего священнее уз дружбы, и я счастлив, что могу приветствовать здесь, за этим столом...

Тут Смерть хихикнула, потому что проказник Каляка довольно основательно ущипнул ее, но я закончил:

...моих лучших друзей!

Хлопнули пробки и прозвенели бокалы.

— Как хорошо здесь... как уютно, Вася! — слышался мечтательный голос Тени. — Вино и сыр... полу-прак... всё напоминает о любви...

— В прошлом году, — сказала Смерть, — помню, пришлось скосить одну девицу. Пришла я, а она с любовником, и всё так же обставлено.

— Ну и что? — оживился Каляка.

— Ясно, что. Оба ваши. Но, думаю, нельзя же так, сразу, не подготовив. Вызвала участкового Фрика...

— Как же, знаю! — перебил Каляка. — Хитрющий чёрт!

— Он юноше мысли обо мне внушил, по моей просьбе.

— Взятчик!

— Это была дружеская услуга, Каляка! И девице тоже стал внушать. Смотрю, времени по расписанию две минуты осталось, а девица вздумала новую кофточку мерить.

— Bravo! — закричал Каляка.

— А меня это задело: передо мною оба, а обо мне ни слова. Какая невоспитанность, я бы сказала, неделикатность! Пощекотала ее косою, а она захихикала и говорит: погоди, Петька, кофточку изомнешь!

— Невероятно! — в один голос воскликнули я и Тень.

— Какова, а?! — восторженно кричал Каляка и стукнул хвостом по столу. Я попросил вести себя приличнее и хвост со стола убрать.

— Ну вот, — продолжала Смерть, — в кофточке новой и скосила. Юношу жалко. Он меня увидел в самый момент, заговариваться стал. «Господи!» крикнул.

Каляка раздражился и заметил:

— Ты, Смерть, даже пустякового дела сделать не можешь, чтоб не обратить.

— А ты мне, Каляка, и все ваши — не указка. Я сама по себе, идеология меня не касается.

— Друзья мои! — вмешался я. — Выпьем за Смерть, честно и неподкупно исполняющую свой долг!

— Спасибо, Васенька, — растроганно отозвалась Смерть.

— Помните ли, друзья, какую тему затронул Кукушкин...

— Увы, только Тень его, только Тень...

— Виноват! Тень Кукушкина?

— Тему любви! — взволнованно сказала Тень. — Вот что достойно обсуждения в знаменательный для Васи день.

— Так! — сказал я. — Не любовь ли наполняет нас стремлениями, порою непонятными и непонятыми, но непреодолимыми? Кто, утратив ее, не становится несчастнейшим? И не по праву ли первое слово принадлежит Тени Кукушкина, познавшей утрату бесценного чувства?

— Конечно, — заметила Тень. — Друзья мои! Ведь не всегда одиночество томило меня, и мне выпало счастье. Покойный Кукушкин, хозяин мой, полюбил однажды красавицу Зину. Он долго добивался взаимности, но куда ему, чиновнику, и, между нами говоря, чиновнику ничтожному? Его отвергли... По-иному сложилось у меня и неразлучной спутницы Зиной. О, мы полюбили друг друга. Дни текли незаметно. О, любовь, она столь же коварна, как и прекрасна! Она заставляет забыть о долге и прочих привязанностях. Получилось так, что, — тут голос Тени дрогнул, — мы настолько увлеклись друг другом, что я не вернулась однажды к хозяину до полудня...

— Ах! — невольно воскликнул я.

— ...да, да, Вася, вот что делает с нами любовь...

— Так, так, — отозвалась Смерть.

— Кукушкин умер. Это наука любовникам: они почему-то не заботятся о взаимной склонности своих

неразлучных спутников. И что же? У нас родилось дитя... мы назвали его Адиком. И всё было бы хорошо, но однажды Зина, вышедшая замуж за ревнивца, ждала своего мужа. Я и моя милая были поблизости, обнимались и целовались, как вдруг появился муж и увидел прежде всего меня и милую! У него возникла мысль о постороннем мужчине, и он, не разобравшись, устроил чёрт знает какой скандал!

— Шесть тарелок разбились, — уточнил Каляка.

— Моя жена (ибо мы уже поженились) сказала, что нам надо расстаться... наше дитя... наше дитя!.. погубило от солнечного удара. Нас ничто более не связывает, сказала она. Я заливался слезами, умолял, — всё было напрасно. Увы, любовь! Оказывается, моей милой приглянулся неразлучный спутник водопроводчика. О, вот что такое измена! Мстительная мысль возникла у меня, но отвергнутый неразлучный спутник законного мужа опередил меня. Он подбросил мужу анонимное письмо. Ревнивец увидел в ясную лунную ночь обнимающихся неразлучных спутников Зины и водопроводчика!

Ни в чем неповинная красавица была жестоко бита. Не выдержав, она бежала с трамвайным кондуктором, и моя обожаемая, бесценная, дорогая последовала за нею...

— Это же трагедия! — воскликнул я.

— Конечно, трагедия! — всхлипнув, сказала Тень. — С тех пор я не знаю любви, но знаю, что никакие муки и страдания не затмят этого святого чувства!

Каляка захохотал, и я сухо спросил его о причине неуместного веселья.

— Если бы Кукушкин услышал речи своего неразлучного спутника, он бы умер от сознания собственного ничтожества!

— Неправда! — горячо возразила Тень. — Кукушкин тоже любил и страдал!

— Что же, выпьем в честь чувства, — предложил

Каляка, — которое мне незнакомо, но которое мощественно и достойно меня и нашей красавицы!

Смерть поблагодарила беса вежливым поклоном, и вновь в бокалах закипело шампанское.

— Да, мне незнакомо чувство, погубившее Кукушкина и владеющее нашим дорогим Василием... не так ли?

— Ты прав, бес.

— Мне известна другая любовь, если это любовь, но в чем-то она похожа на любовь: я люблю свое дело. Уловление человека есть подлинная наука, сложная и тонкая, где не обойтись без знания психологии, анатомии и географии. О, я такой психолог, что тебе, Вася, и не снилось! Выпьем, друзья, за великого психолога Каляку!

— Итак, я люблю делать хорошо, — продолжал Каляка, когда отзвенели бокалы. — Почему Вельзевул и все наши вплоть до семнадцатого года нынешнего столетия терпели временные неуспехи? Вельзевул не догадывался о простой вещи: добро ослабляет зло своим присутствием, добро даже и побеждает зло, если зазеваешься. Предположим, хотя это и факт, что добро уничтожено. Но необработанная душа человека тоскует по добру, в этом я часто убеждался. Гуго, суфлер Ульянова, сделал другое открытие: он предложил расположить зло *по степеням*. Вот, спрошу я у Васи. Что ты выбрал бы: сожжение на костре или повешение?

— Вздор! — воскликнула Смерть. — У Васи не будет такого выбора!

— Да это рассуждение, Смерть.

— Как глупо включать в рассуждение то, чего никогда не будет!

— Так как же, Вася?

— Повешение.

— Между повешением и расстрелом?

— Гм! Расстрел.

— Расстрел или пожизненное заключение?

— Вот об этом уже можно говорить серьезно, — заметила Смерть.

— Выбираю последнее, бес.

— И так далее. Но видите, друзья, сколько степеней между сожжением заживо и проработкой на партсобрании. Не правда ли, Вася, тюрьма меньшее зло, чем сожжение?

— Правда.

— Если развить мою мысль, не есть ли тюрьма в некотором, известном смысле добро по сравнению с сожжением, злом?

— Однако!

— Если быть последовательным, не есть ли выбор уничтожаемого человека между тюрьмой и сожжением — выбор между добром и злом? Спустимся на несколько степеней сразу: не есть ли жизнь человека, терзаемого начальством, *абсолютное добро* по сравнению с *относительным добром*, тюрьмой?

— Это ложь, бес.

— Ты нелогичен, Вася, в угоду давно отвергнутого практикой учения! Слава Люциферу, твои соотечественники давно согласились со мной! Заметь, человек хочет добра и скучает душою без него, во-первых; во-вторых, человек всегда предполагал, что зло и добро со всеми их степенями суть ступени одной лестницы. Иначе, устранив добро и расположив зло по степеням, не удалось бы заставить считать нижние степени добром.

— Именно так.

— Обман, стало быть, не изменил природы зрения, а лишь замутил его.

Каляка рассмеялся.

— Ты прав! Я знаю, что ты хочешь сказать! Что туман рассеется. Нет, потому что мы работаем изо дня в день. Отдельные уклонисты, вроде тебя, нам неопасны, ибо и ты признаешь правило возведения зла в степень. Да и пусть ты будешь уклонистом, я люблю

тебя за острый ум. В конце концов я берегу тебя, чтобы не умереть со скуки в этом чересчур послушном обществе.

Разрешим еще один вопрос. Что ты предпочел бы: жестокую пытку или смерть?

— Нет, послушайте! — воскликнула Смерть. — С чем они меня сравнивают!?

Я немножко смешался и примирительно сказал:

— Не обижайся, милая Смерть, это ведь рассуждения!

Но голос ее дрожал, она готова была расплакаться.

— Рассуждения! Пригласить на званый ужин и оскорблять в лицо! И ты уже собрался отвечать Вася, на бестактнейший вопрос глупого беса!

Воцарилось натянутое молчание.

— Прости, Смерть, увлекшихся логиков, — сказала Тень Кукушкина.

— Прости меня, — сказал я. — Выпьем же за дружбу, друзья мои. Не будем нарушать сердечного согласия в этот вечер!

— Ладно, не сердись, быстроногая, — попросил Каляка.

Пробки хлопнули, и мы вновь осушили бокалы.

— Так вот, я вспомнил об одном уклонисте, — продолжал Каляка. — Он задал мне много работы. Но и к нему я нашел ключик. У него не было воображения, я это воображение развил, и уклонист стал моим. Развитое воображение всегда было моим союзником. С этим уклонистом мы изучили географию и анатомию. Вот видишь, говорил я ему, Россия обнесена колючей проволокой, но ты ведь не стеснен в поездках по стране. Есть, говорил я, места, где колючую проволоку видно из любой точки. Там передвижение весьма, весьма ограничено! Но есть, мой друг, каменные комнатки, то есть тюремные камеры, где тебе можно будет сделать десять шагов. Но есть, мой милый, карцер, где тебе придется стоять, и только!

После этого мы занялись анатомией. Учти, говорил я ему, что кожа очень чувствительна. Тебя будут бить по спине электрическими проводами (замечу в скобках, что именно это имел в виду Гуго, когда выдумал «электрификацию всей страны»), мало того, тебе вырвут волосы, а заодно и ногти...

Он был почти мой, но не сдавался и по-прежнему считал добром — добро. Увы, пришлось его шантажировать...

— Ай да психология!

— Цель оправдывает средства, Вася; извини за пошлость. Так вот, я спросил его, процитировав Васину любимую книжку: «всё тайное станет явным», — не догадывается ли сосед о его мыслях и не пишет ли маленькую такую бумажечку, где всё, всё излагает...

Уклонист с рыданием упал в мои объятия, умоляя спасти его и научить жить.

— Однако поэты не лишены воображения, — сказал я, — но скольких ты сумел соблазнить?

— Это дело другое и очень серьезное, Васенька. Действительно, в этом столетии мы склонили к союзу всего четырех поэтов... Но, видишь ли, их воображение есть свойство дара, а это, как ты знаешь, не наша вотчина. Единственное, что мы можем, это украсть дар, вот в чем трудность. Подыдем бокалы, друзья, и выпьем за *любовь к делу!*

Вновь хлопнули пробки.

— Теперь, милая Смерть, пора говорить тебе, — сказал я.

— Не кажется ли тебе, Вася, что мне полагается как старшей говорить последней?

— Почему же ты старшая? — спросил Каляка. — Это я стар, как бытие, а ты родилась гораздо позже. Твоим первенцем был Авель, тебя еще не было, когда я угощал яблочком кое-кого!

— Положим, Каляка, яблоко не ты подал, а сам Люцифер. Ты его поздний отпрыск, и не самый умный,

если говорить правду. Уж мне-то не знать, что ты был зачат в 574 году с отвратительным старым козлом!

Каляка в бешенстве скрежетал зубами, бил хвостом и задыхался.

— Я зачат с козлом! Я не самый умный! Какая наглость!

— Друзья мои! — сказал я. — Неужели вы хотите испортить сегодняшнее торжество? Уймись, Каляка; а тебе, Смерть, не подобает мстить. Ведь ты мстишь Каляке за то, что он хотел сравнить тебя с пыткой в одном из рассуждений. Дабы восстановить мир, тебе придется уступить мне последнее слово.

— Так и быть, — отвечала Смерть со вздохом. — Но только благодаря моей привязанности к тебе, Васенька.

Друзья мои! Что есть любовь и к чему она приводит? Много я видела на своем веку, но об одном скажу с уверенностью: люди всегда роптали на меня. Неблагодарные! Сколько мне пришлось мучаться с ними, ибо каждый свою любовь почитал высшей. Скупец любит деньги, тиран власть, любовники друг друга. К каждому нужен свой подход. Скупца я принуждаю силой встретиться со мной, тирана лучше всего внезапно, любовника уговариваю. Мне дано это право, потому что я люблю человечество, и с каждым годом всё сильнее. Я дарю людям, они не замечают, а заметив, отшатываются в ужасе. Этот дар — любовь.

Не я ли освобождаю человека от рабства? Страданий? Болезней? И прочего? Мало того, я распахиваю дверь в вечную жизнь, где нет ничтожного и мерзкого, но всё велико, но всё способствует блаженству души.

Редко, но встречаюсь иногда с человеком, который видит меня, а увидав — влюбляется. Этот поистине дорог мне, я люблю его и помогаю как могу. Он многое узнаёт от меня, и когда приходит время, я испрашиваю у Судьбы одного *вольнотпущенника*, хотя бы он

и не был рабом, и уже сама назначаю время, когда я расстанусь с ним. Расстаемся же мы не раньше моего убеждения, что дорогой подопечный готов к вечной жизни. Что она, эта *жизнь*, шалунья, проказница, может противопоставить мне? Она наделяет человека муками и хотела бы, чтобы он жил и мучался; не я ли данной мне властью избавляю его от мук? Итак, жизнь ненавидит человека, я же, Смерть, люблю его. В мерзком сопоставлении Каляки есть смысл: жизнь пытает, но освобождает от пыток — я. Можно ли затмевать рассуждениями очевидное, что жизнь — тяжелое рабство, а я — отчий дом.

Избранник мой... Что же, когда ему пора уходить, я испытываю грусть, но и радость: я дарю ему самое драгоценное, что у меня есть... Да, тогда я чувствую себя девицей, провожающей милого: я будто стою у околицы и машу ему платочком... а он уходит в новые и далекие странствия.

— Bravo, старуха! — закричал Каляка. Мы все были взволнованы искренностью Смерти. Я предложил выпить за нашу дорогую подругу, в ледяной груди которой скрыто столько юношеского жара, верности и любви.

— Друзья мои, — начал я, — мои слова, пожалуй, излишни, ибо о любви сказано почти всё. Однако не всякое повторение скучно, и даже множеством повторений не исчерпать любви!

Каляка захохотал и свалился со стула, что меня очень смутило.

— Чёрт тебя подери, Вася, но спасибо за маленький отдых от философии! Выпьем же за Неожиданность, двоюродную тетку Веселья!

Мы совершили возлияние, и я продолжал.

— Не оказывается ли иногда человек владельцем той единственной драгоценности, которую жизнь приносит среди мучений? Так, и драгоценность эта — любовь. Это состояние радостного бодрствования ду-

ши, её цветение, когда мир пестрит яркими красками, точно весенний луг, когда преображается сердце и молодеет кровь. О, как утончаются чувства, они научаются различать тысячу оттенков и слышать тайную музыку на свадьбе жизни и Смерти.

— Это брак по расчету, — заметила Смерть.

— И вот человек догадывается, что он должен платить за эту радость, что он должник, хотя и желающий иногда уклониться от выплаты долга; но жизнь расставляет свои ловушки, и самая хитрая из них — неодолимое влечение влюбленного к своему предмету, следствие которого есть продолжение рода человека, следовательно, жизнь.

Впрочем, об этой любви достаточно сказано Тенью Кукушкина.

Жизнь несет в себе тайну, и тайна эта — неодолимость любви. Отчего жизнь столь настойчива в своем требовании; не оттого ли, думает человек, что жизни поставлена некоторая цель, понять которую я не могу? Не оттого ли, думает человек во второй раз, любовь так сильна, что жизнь поминутно жертвует сотворенным ею же? Итак, есть ли любовь средство для достижения жизнью высшей цели, или она служит для поддержания бесцельной жизни?

Любовь есть и третье: цветение души, плод коего мысль. Весна сменяется летом и осенью; теперь душа размышляет и беспокоится, не находя вечной любви, но желая её; она познает страх, думая, — не есть ли эта жизнь единственная, но и преходящая? Прекрасная, но пребывающая здесь!

Тут я вспоминаю о сказанном Калякой, о его любви к делу. Каляка, не предполагает ли дело закон и правила делания.

— Поистине, Вася.

— Неизменен ли закон дела?

— Так.

— Точно ли правила делания неизменны, как и закон дела?

— Многое зависит от хитроумия делателя, иногда дающего и новые правила.

— Итак, дело зла совершается по закону зла, но и по правилам делателя зла?

— Так.

— Я скажу, почему ты любишь свое дело: ты каждый раз решаешь новую задачу; вот место, где ты побеждаешь человека, ибо первый плод плодоносящей души есть любовь к игре ума; для этой любви неважно, каковы правила и цели игры, лишь бы было поставленное на карту, пусть это и щелчок по носу.

Однако человек не довольствуется и этой любовью, ибо не вся душа любит игру, но ум; есть некое у нее свойство, а именно: жажда воссоединиться в непреходящей любви. Несчастен человек, не знающий пути к утолению этой жажды, но горе и тому, кто утоляет её неживою водой.

Душа смотрит на играющий ум, как старуха-мать на резвящееся глупое дитя. Она знает, что долог путь и временно место отдыха; она знает, что на предыдущем привале дитя играло в арифметику, а сейчас резвится и строит домик по правилам алгебры; но и там, и тут, и потом всё тот же домик, всё на том же основании — прах на песке.

И вот душа, угнетенная жаждой, видит, как жизнь истребляет ею же созданное тело, и бежит от мучений к новой любви. Любовь эта не проходит с юностью, но только с жизнью, любовь эта — к Смерти.

— Так, Васенька, — сказала Смерть, — о старухе доброе слово молвил. Вот, Каляка, умного человека и послушать приятно. Выпьем же за Васину любовь ко мне!

Хлопнули пробки, и мы вновь, в который раз за эту долгую ночь осушили бокалы, и я продолжал.

— Снова расцветает душа полюбившего Смерть, и теперь она радуется вся, играет вся, она воссоединилась и утоляет жажду. Жажду и печаль души, еще не отпущенной Смертью, утолит новый источник. Источник этот — Истина. Источник этот — Бог.

— Полегче, полегче, Вася! — проворчал Каляка.

— Она привыкает к иной жизни, где нет ни правды, ни лжи, ни страдания, но где бытие души. Любовь к Смерти ставит душу выше игры ума, выше игры самой души, ибо Истину даруют не ходы по правилам, но молчаливое созерцание. Истина не придет с неизбежностью, а потому нет к ней верного *хода*. Явление ее не знает правил, а потому несчастен человек, идущий к счастью души по правилам ума.

— Шампанского! — воскликнул бес. — Будем пить и веселиться!

Мы выпили бутылку, хотя я многого не сказал еще. И тут мы увидели, что на дворе уже утро.

— Тебе скоро на службу, — заметила Смерть. — Мы, пожалуй, пойдем, тебе нужно отдохнуть хотя бы часик.

Так я вступил в тридцать девятый год своей жизни.

*

...Очень люблю быть ночью в комнате, когда все заснут. Тишина ночная, окно приоткроешь, а там осень, дождь идет тихонько. Потом пойду посмотрю: дитя спит. Долго слушаю дыхание спящих; меня охватывает полная безмятежность, слушаю, слушаю это дыхание и начинаю чувствовать такое умиление, как после молитвы.

*

— Смерть, скажи мне, почему Он воскрес?..
Мнется, отворачивается.

— Может, уговор какой был, или еще что?

Молчит.

— Плохо дело сделала, что ли?

Повернул ее к себе, смотрю пристально в пустые глазницы.

— Смерть, скажи мне *правду*.

Она вырвалась и убежала.

*

Вот и еще день прошел... хорошо еще прожили, все трое: ни у кого ни царапинки. Даже с прибытком день: пальтецо ребеночку справили, недорогое и теплое, и ботиночки.

Так потихоньку жизнь и одолеем.

*

Ты разрушишь злое, ты остановишь пытку,
ты упразднишь жестокость, ты рассеешь ужас,
ты разоришь подлое, ты прекратишь глумление,
ты растворишь горечь, ты окутаешь покоем,
ты залечишь раны, ты освободишь меня,
 успокой меня, дай радости мне,
 утешь меня, приласкай меня,
 о Смерть!

1959—1970

Александр Солженицын

Нобелевская лекция 1970 года по литературе

Впервые русский оригинал лекции был опубликован вместе со шведским и английским переводами в Ежегоднике Нобелевского комитета в августе 1972 года (Les Prix Nobel en 1971. Stockholm 1972, Imprimerie Royale P.A. Norstedt & Söner).

Читать лекцию А. Солженицын предполагал на церемонии вручения Нобелевских диплома и медали в Москве — на Пасху, 9 апреля 1972 года. Церемония не состоялась, так как было отказано в визе председателю Нобелевского комитета Шведской академии, доктору Карлу Рагнару Гирову.

Р е д.

1

Как тот дикарь, в недоумении подобравший странный выброс ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — за тычкою или палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А Искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что *определил* Искусство? перечислил все стороны его? А может быть, уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы недолго могли на том застояться: мы послушали и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда нам снова скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него — но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача — валит ее на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за воспринимающие души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неу-

дачах, и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях, — ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, его непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: за чем нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и ошибутся все предсказатели, что Искусство разложится, изживет свои формы, умрет. Умрем — мы, а оно — останется. И еще пойдем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначенья его?

Не всё — называется. Иное влечет дальше слов. Искусство растекает даже заоложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством Искусства иногда посылаются нам — смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...

2

Достоевский загадочно обронил однажды: «Мир спасёт красота». Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровожадной истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно-художественного произведения совершенно непроверяема и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия — и всё опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несет само в себе: концепции придуманные, натянутые, не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то, может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся в то же самое место, и так выполнят работу за всех трех?

И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: «Мир спасёт красота»? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То небольшое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

3

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть, с бóльшим даром, сильнее меня — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛаге, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны — но сколько не узанных, ни разу публично не названных! и почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаемому тенями павших, и со склонённой головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы ее понимали. Словами Владимира Соловьева:

Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных перебродках, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог слышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчетливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движениями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, тою жизнью проверены, от т у д а выросли.

Когда же ослабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот «весь мир». И поразительно — для нас оказался «весь мир» совсем не таким, как мы надеялись: «не тем» живущий, «не туда» идущий, на болотную топь восклицаящий: «Что за очаровательная лужайка!», на бетонные шейные колодки: «Какое утонченное ожерелье!», а где катятся у одних неотирные слезы, там другие приплясывают беспечному мюзиклу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны ли были мы? Бесчувствен ли мир? Или это — от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа.

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

4

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: «Не верь брату родному, верь своему глазу кривому». И это — самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нем. И долгие века, пока наш мир был глухо, загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своем обществе, наконец, и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок: что признаётся средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень по-разному жили разбросанные народы, и шкалы их общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников, да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, еще не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым — обнадёжно единым и опасно единым, так что сотрясения и воспаления одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный *глаз*, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, — а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас ва-

лит накат событий, полмира в одну минуту узнаёт об их выплеске, но мерок — измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира, — не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах: эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок — и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то, во всяком случае, несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и, чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал, как от безумия, от заблуждения, — и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей не то, что на самом деле крупней, больней и невыносимей, а то, что ближе к нам. Всё же дальше, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признаётся нами — со всеми его стонами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв — в общем, вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и, наверно, он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в первосвященника *освободить* нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю

мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лёд, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, всё почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвёт эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживём на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчёта — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они

разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что́ действительно тяжело и невыносимо, а что́ только по близости натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне ему проходит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куцее земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздаёт опыт, пережитый другими, — и дает усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того: и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает, и на века, когда, кажется, так всё наглядно видно! ан нет: то, что одними народами уже пережито, обдуманно и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единственный заменитель не пережитого нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этою второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве Искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущенный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит ее утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(В последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно только сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.)

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение «свободы печати», это — замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком история.

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам ее я с радостью присоединяюсь. Да, русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились нам представления, что писатель может многое в своем народе — и должен.

Не будем попираť права художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем *требовать* от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает свое дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него с рожденья готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего *не должен*, но больно видеть, как *может* он, уходя в своесозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось всё страшное в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, — на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классово-вой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромис-

сов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит, всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент *вырвать кусок*, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубное оправдание: заливаает мир наглая уверенность, что сила может всё, а правда — ничего. *Бесы* Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века — на наших глазах расплзаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли — и вот, угонами самолетов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удаться им. Молодежь — в том возрасте, когда еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами еще нет годов собственных страданий и собственного понимания, — восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верховоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот эти х лютых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!),

отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодежи возразить — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы не показаться «консерваторами», — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его *рабством у передовых идеек*.

Дух Мюнхена — нисколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Орбелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется... (Но никогда не обойдется! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А еще нам грозит гибелью, что физически сжатому стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: *пресечение информации* между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри *оглушенной* зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедицион-

ный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что «освобождают».

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединенных Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не Организация Объединенных Наций, но Организация Объединенных Правительств, где уравнены и свободно избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение *частных жалоб* — стонов, криков и умолений единичных маленьких *просто людей* — слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за 25 лет документ — Декларацию Прав человека — ООН не посилилась сделать *обязательным* для *правительств* *условием* их членства — и так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств.

Казалось бы: облик современного мира весь в руках ученых, все технические шаги человечества решаются ими. Казалось бы: именно от всемирного содружества ученых, а не от политиков, должно зависеть, куда миру идти. Тем более, что пример единиц показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, ученые не явили яркой попытки стать важной самостоятельно действующей силой человечества. Цельными конгрессами отшатываются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Всё тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презренье у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не есте-

ственно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадежно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы, — то бурые пятна навек зашлепали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга, — то на ладонях писателя синяки от той веревки. И если юные его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников, — то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдем ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?

7

Однако ободряет меня живое ощущение *мировой литературы* как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали, и оги-

бающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть взаимодействие, если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада, как Генрих Бёлль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто *ни на чем* — на невидимом, немом натяге сочувственной общественной плёнки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего 50-летия я изумлен был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза *стена защиты*, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, еще позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвлеченная огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще багровеют государственные границы, накаленные проволокою под током и автоматными очередями, еще иные министерства внутренних дел полагают, что и ли-

тература — «внутреннее дело» подведомственных им стран, еще выставляются газетные заголовки: «не их право вмешиваться в наши внутренние дела!», — а между тем *внутренних дел* вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь безразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь безразлично, что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа — одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил въявь и, может быть, никогда не увижу.

Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим! В своих странах, раздираемых разногласием партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального языка — главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливых случаях и национальной души.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущенный опыт одних краев в другие, так, чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал, и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, — и тем обережены были бы от запоздалых ошибок. А сами мы при этом, быть может, сумеем развить в себе и *мировое зрение*: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнем вбирать и то, что делается в ос-

тальном мире. И соотнесем, и соблюдем мировые пропорции.

И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый легкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным броскам молодежи, и юным пиратам с замахнутыми ножами?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А — не забудем, что насилие не живет одно и неспособно жить одно: оно непременно сплетено с *ложью*. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим *методом*, неумолимо должен избрать ложь своим *принципом*. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: *победить ложь!* Уж в борьбе то с ложью Искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против Искусства.

А едва развеяна будет ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о *правде*. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт, и иногда поразительно:

Одно слово правды весь мир перетянет.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.

«Посещение музея» Набокова в свете традиции модернизма

В промежутке между двумя войнами в Европе распространилось одно из течений модернизма — третья и наиболее революционная его волна, известная под названием сюрреализма. Идеологически это течение шло по следам немецких экспрессионистов, главным образом, по признаку протеста против материалистического мира, казавшегося им бессмысленным и обезличивающим. Появилось оно во Франции и фактически вышло непосредственно из дадаизма, совершенно отрицавшего познавательную, эстетическую и социальную функции искусства и восставшего против реальности.

В 1922 году Андре Бретон перенял руководство дадаистами от Тристана Тцары и внес в программу существенные изменения. Вместе с ним к группе присоединились многие его единомышленники, преимущественно молодые художники, писатели и поэты (продолжая, таким образом, ориентацию дадаизма на связь живописи и литературы), а также драматурги, режиссеры театра, а позже и кино. Тогда же Бретон переименовал движение в сюрреализм (название было взято из пьесы Гийома Аполлинера 1917 года „Les mamelles de Tirésias”, по-русски: «Сосцы Тирезия»), но со значением не «сверхъестественного», а «высшей, абсолютной реальности». Под «абсолютной реальностью» Бретон и его последователи подразумевали синтез действительности и воображения, нечто лучшее, чем окружающий мир,

причем они придавали сюрреализму более широкое значение, нежели просто художественному направлению, считая его новым восприятием жизни. На этическом уровне «абсолютная реальность» выражала протест против «отвратительной, шаблонной действительности», как и в дада, но здесь было желание скрасить ее, противопоставить ей «чудесное» в каждодневном. На эстетическом уровне — это было отказом от мнемонического искусства (т. е. имитирования или интерпретации того, что уже существует в природе) и стремлением заменить его новым, индивидуальным видением мира в художественных произведениях, а также и в жизни.

Сюрреализм базировался на теории Анри Бергсона о значении интуиции, иррационального начала, спонтанности как жизненного порыва вообще (так называемого *élan vital* — франц.) и как творческого процесса в особенности (в противоположность логическому созидательному подходу), а также на учении Фрейда о подсознательной жизни индивида. Кроме того, отрицание сюрреалистами старых художественных и жизненных традиций, якобы ограничивающих свободу человека и художника, придало им некий бунтарский оттенок и вылилось позднее у некоторых (например, у Арагона) в сознательное стремление к перестройке общества.

В поисках прекрасного и новых методов его выражения члены группы Бретона обратились к изображению сверхчувственных подсознательных процессов — снов, безумия, транса, галлюцинаций.

Отрицая традиционные логические и художественные категории, сюрреалисты искали новые средства выражения и в так называемом «автоматическом письме», которое должно было ассоциативным путем фиксировать подсознательный процесс (ср. с джойсовским «потокосознанием»), и в гротесковых приемах и, как уже говорилось, в поэтике сна, которая позже стала главной художественной доктриной сюрреализма.

Секрет этой поэтики в опущении логической основы. Сон воспроизводится не как процесс, отделенный от действительности, а передается в комбинации образов сна и действительности. Всё в произведении происходит или существует по «логике сна»: без логических мотивировок, иррационально. Модель мира, созданная поэтикой сна, лишена всякой причинной связи, а также пространственной и временной последовательности. В художественных произведениях поэтика сна может проявляться по-разному: в одних — модель мира полностью сюрреальна, в других — сюрреалистические элементы только «вкраплены». Созданный художником-сюрреалистом мир может быть либо отвратительным кошмаром, либо дышать волшебной прелестью. В нем могут преобладать прозаические черты, но он может соскальзывать и в фантазмагорию. Стилистические колебания возможны в диапазоне от «свободной ассоциативности» до вполне традиционного описания предметного мира...

Так как ни сам Брентон в обоих своих Манифестах (1924 и 1930 гг.), ни его ученики не установили обязательных формально-стилистических норм, многие писатели и художники-сюрреалисты, появившиеся вскоре в других странах Европы и Америки, следовали некоторым принципам сюрреализма (гротеск, поэтика сна), не принадлежа к движению официально. Некоторые сами называли себя сюрреалистами, других — так характеризовали критики. Иногда они образовывали группировки, которые получали свои собственные названия, например, «Магический реализм».

Еще чаще художники и писатели, не причастные ни к каким группировкам, создавали, возможно, даже по случайному совпадению, такую же модель мира, как сюрреалисты. Так произошло и с русским искусством: официальных групп не было сформировано ни в Советском Союзе, ни в Европе (если не считать родственных сюрреалистам *обериутов*), но произведения, имею-

щие тот или иной признак сюрреализма, появлялись тут и там как блуждающие огни. Авторы таких произведений, строго говоря, нельзя назвать сюрреалистами, но вполне можно говорить о сюрреалистической тенденции в русской литературе и искусстве. Изучение этой тенденции в поэзии, прозе и драматургии — тема большого исследования. Здесь хотелось бы лишь кратко представить ее на примере одного из самых интересных и многогранных русских писателей XX века — В. В. Набокова.

Главный отличительный признак, по которому определенные произведения Набокова близки к сюрреализму, — это уже упоминавшаяся *поэтика сна*. Сам Набоков подчеркивал значение «специальной логики снов», которая создает модель мира в виде призрачной, сюрреальной фантазмагии. Так, он отмечал ее в произведениях Гоголя в своей книге о нем, вышедшей в 1944 году.

В своем собственном творчестве тридцатых годов Набоков начал уделять все больше и больше внимания поэтике сна. Многие его рассказы и роман «Приглашение на казнь», вплоть до его последнего произведения на русском языке (незаконченного романа, состоящего из двух частей: «Солюкс Рекс» и «Ультима Туле»), в разной степени содержат сюрреалистические элементы. Очень хорошим и ярким примером этой группы произведений служит коротенький рассказ 1938 года «Посещение музея», включенный в сборник «Весна в Фиальте» (издательство им. Чехова, Нью-Йорк, 1956).

Главная тема этого рассказа — «жизнь есть сон», и весь его замысел можно передать словами Смурова, героя более раннего рассказа «Соглядатай»:

«Странно, когда явь оказывается сном, но гораздо страшнее, когда то, что принимал за сон, легкий и безответный, начинает вдруг остывать явью».

Для понимания «Посещения музея» — этого, на первый взгляд, хаотического рассказа, очень важно оп-

ределить его структуру. В этих целях здесь применен структурный анализ, который с некоторых пор приобретает известность в узких литературоведческих кругах под названием «якобсоновской поэтики», в честь гарвардского профессора Романа Осиповича Якобсона. Построение рассказа напоминает строфу стиха: опоясывающая рифма, внутри — две зеркальные «половины» и третья, скажем условно, особая часть. Наглядно эту строфику можно было бы представить так:

$$x(+a/-a/b)x$$

Опоясывающая «рифма» — поручение, полученное героем от знакомого, «человека со странностями, чтобы не сказать более»: найти и купить портрет его предка в музее — вводит фантазмагорический мотив сумасшествия, который в некоторой степени создает атмосферу рассказа.

Первая половина рассказа добросовестно очерчивает трехмерный реальный мир: безымянный рассказчик, русский эмигрант; октябрьский день в маленьком французском городе; ливень, загнавший рассказчика в музей; небольшое здание музея, с убогими экспонатами: «за первой залой была другая, как будто последняя» (это «как будто» является единственным намеком на возможность последующих событий); портрет предка, найденный в музее; красный автобус на улице, «набитый *поющими* молодыми людьми»; «шпиль длинношеего собора», который мозолит глаза рассказчику; и несколько других деталей. Сам рассказчик (обозначим его для краткости Р.) подчеркивает правдоподобность музея: «Всё было как полагается».

Во второй половине рассказа эти реалистические детали опровергаются одна за другой: перед нами как бы зеркальная параллель первой. Сдвиг «сигнализируется», едва Р. появляется в доме опекуна музея г. Годара: «я *вошел* в его комнату (...) со *странно* знакомой китайской вазой на камине». Тот факт, что ваза знакома

рассказчику, мог бы быть принят за опущенную мотивированность сном всего последующего: Р. вернулся в свою комнату и заснул. Но никаких подтверждений этому нет, наоборот, сам он позже несколько раз повторяет, что всё, что с ним происходит, — не сон. Кроме того, ваза могла быть ему знакома по музею, где он видел такую же. Сразу же, как только Р. знакомится с опекуном, вводится мотив абсурда. Все действия опекуна кажутся странными. «Этот жест показался мне *необычным*», — говорит Р. о первом движении опекуна бросить только что запечатанное письмо в мусорную корзину.

Опекун отрицает существование портрета в музее, хотя работает там почти двадцать лет, вопреки заявлению Р., что он только что его там видел. По дороге в музей с Р. он почему-то покупает «фунтик липких леденцов» и настойчиво угощает ими своего спутника. Увидя портрет и не решаясь продать его, он ссылается на то, что должен посоветоваться «с мэром, который умер и еще не избран».

Описание внешности опекуна не только выставляет его в абсурдном свете, но и создает намек на мелкого беса с копытами, предвещающий будущую фантастическую историю: Годар — худенький, пожилой человек, «лицом очень похож на белую борзую, — мало того, он совсем по-собачьи облизнулся, наклеивая марку на конверт», а позже, в музее, «наступил своим дамским каблуком на чью-то ногу».

Дальнейшие происшествия в музее после того, как они оба вошли туда, переходят уже из области абсурда в кошмар. Эта перемена тоже сигнализирована: «В музее было *нехорошо*». (Между прочим, «длинношейей собор», так мешавший Р. на улицах, теперь, при возвращении в музей, совершенно им не упомянут. Это могло бы быть вторым намеком на то, что Р. в музей не возвращался, а видел всё во сне).

Маскарадная атмосфера, напоминающая шабаш ведьм и сопровождаемая адским шумом, царила теперь в музее. Она создавалась теми «поющими молодыми людьми» из красного автобуса, которые издавали теперь отнюдь не гармоничные звуки и вели себя как на гоголевской ярмарке. Этот шум и карнавальщина служат мотивировкой дальнейших событий, так как Р. не может поговорить с опекуном о покупке портрета, и они вынуждены искать более спокойное место.

Здесь происходит перебой в действии и в атмосфере. Неожиданно «разрушается» пространственное единство здания музея: «В конце залы *оказался* проход, которого я прежде *не заметил*». Р. ссылается на свою рассеянность, стараясь объяснить изменение интерьера. Следует отметить, что они попадают в другую, совершенно иного типа часть музея через «проход». За этим проходом «далее открывались еще и еще залы», со множеством дорогих, редких и громадных экспонатов, каких и в помине не было в первой части рассказа. Затем появляется лестница, ведущая в галерею, и «пасмурное, но великолепное помещение, отведенное истории паровых машин». Бег героев по «ненужно удлинившемуся музею» приобретает атмосферу кошмара, ясно выраженную глаголами движения: проносились, взбежали, вбежал, полетел и т. д. Без всякой причинной связи, как во сне, появляются «все новые посетители», которые «проносятся мимо», пьяница в котелке падает на пол, «видно», с колоссальной статуи, целая «толпа седых людей с зонтиками» осматривает громадную модель мироздания.

В зале с паровыми машинами происходит еще один перебой в действии: опекун совершенно немотивированно исчезает: «Его *уже* не было». Неожиданность и странность его исчезновения выражена только наречием, без всякого объяснения. После этого меняется «маршрут» Р. — он пытается найти дорогу назад. Подчеркнуто, без всякой попытки объяснить, появляется вто-

рой проход: *«Вдруг опять всё переменилось: передо мной тянулся бесконечно длинный проход»*. После того, как Р., кажется, проходит через него (это не вполне ясно), залы уже вовсе теряют музейный вид и превращаются в ландшафт кошмара, фантасмагорию: *«Среди тысячи музыкальных инструментов в зеркальной стене отражалась анфилада роялей, а посередине был бассейн», «каменные лестницы с лужами на ступенях, странно пугавшие меня (вводится мотив страха — Л. Ф.), уходили в туманные пропасти»*. В темноте Р. *«наткнулся на неведомую мебель», «вышел на платформу, лязгнувшую подо мной»*. Он пробежал через *«гостиную в стиле ампир», «зимний сад», «пустую лабораторию»* и т. д.

В этом отрезке путешествия глаголы движения имеют оттенок пассивности, то есть указывают на почти произвольное метание: *очутился, угодил, попал, оказывался...*

Движения героя, как вперед, за опекуном, чтобы поговорить с ним о покупке портрета, так и назад, в поисках выхода (отметим, что оба раза его движение мотивировано), сопровождаются лейтмотивом «странности», смутного беспокойства, переходящего в страх. В самом начале, когда они прошли через первый проход, *«... странное дело: от простора и пестроты было только тяжело, мутно», «меня охватила какая-то тревога», «странно горели лиловые сигнальные огни», «сжималось мое бедное сердце», «лестницы, странно пугавшие меня»,* и, наконец, полный переход: *«мне уже было непередаваемо страшно»*.

Призрачность кошмарного музея создается, кроме разрушения пространственного единства и логической связи, также мелькающим светом и цветом, сопровождается какофонией разнообразнейших звуков, еще более диссонантных, чем выкрики молодежи, например: свистки, звон посуды, стук пишущих машинок. Мотив совершенно нелогично появляющейся воды усиливает зрительный образ музейной несурязицы: *мокрые релье-*

сы, отдел фонтанов, ручьев и прудков, лужи на ступенях лестниц и т. д. Интересно, что эта фантазмагория воспринимается рассказчиком реально, всеми пятью чувствами, хотя логически ее восприятие неприемлемо.

Сдвиг в третью часть рассказа также происходит при помощи зрительного образа — двери. После всех этих призрачных, отнюдь не музейных зал, Р. попадает в еще более неопределенное место: «какое-то помещение, где стояли вешалки». Там же он нашел дверь, за которой «вдруг грянули аплодисменты», но она открывалась в никуда. «Никакого театра там не было, а просто мягкая мусть, туман, превосходно *подделанный*, с совершенно *убедительными* пятнами расплывающихся фонарей». Очевидное противоречие этого образа показывает относительность восприятия и передает превращение кошмара в реальность: то, что казалось искусственным, на самом деле оказалось настоящим.

Переход Р. из одной плоскости в другую опять неожидан: «Я двинулся туда, и сразу отрадное и несомненное ощущение действительности сменило всю ту нереальную дрянь, среди которой я только что метался». То, что образовалось из призрачной мути и тумана, оказалось снежной улицей Ленинграда, с вывесками по новой орфографии, знакомыми фонарями и т. д. Темнота и тишина Ленинграда противопоставлены «нереальной дряни», шуму и пестроте музея. Теперь, в обратной перспективе, путешествие по «музейным дебрям» кажется рассказчику «горячечными блужданиями».

Р. всё время доказывает действительность этой реальности: «ясное сознание того, (...) что я вышел на волю, в *настоящую* жизнь»; камень под ногами был «*стоящая* панель, осыпанная чудно пахнущим снегом»; его ладонь полна «мокрого, зернистого снега»; «это была *всамделишная*, сегодняшняя (...) Россия». Р. прямо отрицает свое же собственное предположение, что Ле-

«ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ»

нинград — это сон: «во сне мне уже приходилось испытывать нечто подобное, но теперь это была действительность, было действительным всё...». Еще одно доказательство его пребывания в Ленинграде это то, что другие люди видят его: прохожий «кинул на меня удивленный взгляд, а потом еще обернулся».

Чтобы охранить себя от неминуемых политических последствий (опять доказательство реальности происходящего), Р. уничтожил все признаки своего эмигрантского происхождения: паспорт, деньги, письмо от сестры из Парижа и т. д. Об остальных своих злоключениях, которые, он настаивает, с ним произошли, он даже не хочет и говорить: «Достаточно сказать, что мне стоило неимоверного терпения и трудов выбраться за границу и что с той поры я заклился исполнять поручения чужого безумия». В заключение повторяется мотив поручения и сумасшествия, который, как рамка, замыкает рассказ.

В третьей части дается совсем иная модель мира, чем в первых двух. Он не только описан реально, но и сам Р. настаивает на том, что он настоящий. Непоследовательна лишь мотивировка появления рассказчика в этом мире: сдвиг из второй в третью часть нелогичен, вернее, может быть объяснен только логикой сна.

В описании «всамделишного» Ленинграда ясно «звучит» гоголевский мотив фонарей: помните, в «Невском проспекте» Гоголь предостерегал против обманного света фонарей и предупреждал не верить ничему, что видно при их свете? Этот мотив в третьей части мог бы быть единственным намеком на призрачность окружающего.

Во второй же части, наоборот, вся модель мира и все события построены по логике сна, а сдвиг в нее совершенно логичен. Отсутствие последовательности замещается внезапностью всего случившегося. Внезапность создается, главным образом, при помощи наречий

(вдруг, уже, сразу), а также глаголов, обозначающих быстрое, хаотическое или произвольное движение (они были отмечены ранее). События совершаются в напряженной атмосфере кошмара: шума, пестроты, ощущения странности, переходящего в страх. В третьей части атмосфера кошмара «аннулируется»: «продолжая неторопливый осмотр», «я прошел несколько шагов», «повернулся, пошел, остановился опять», «из тумана вышел человек», «я не испытывал ни удивления, ни страха»...

Вторая часть, в свою очередь, противопоставлена первой: все детали, постулированные в первой, — «отрицаются» во второй. Группа приличной, поющей молодежи становится большой, дико шумящей маскарадной толпой; портрет и опекун, главные двигатели действия, оба совершенно немотивированно исчезают, музей превращается в ландшафт сна, и сам Р. из хладнокровного, скучающего господина — в мятущегося, ничего не понимающего и обуянного страхом человека.

Сдвиги из одной части рассказа в другую оба раза ясно обозначены *входом в дверь*, а нагнетение фантазмагии во второй части, тоже двукратно, обозначено *проходом*.

В своей книге о Гоголе Набоков отметил один из типов сна, в котором человеку снится, что он проснулся, но на самом деле именно тогда наступает «вторичный сон», еще более невероятный и кошмарный. По своей структуре весь этот рассказ подобен такому сну: вторая часть могла бы быть первым сном героя, а третья — «вторичным». Но никаких указаний на то, что это был сон, не дано, кроме двух весьма смутных намеков — ваза и фонари. Наоборот, Р. настаивает на том, что всё это действительно с ним случилось. Тот факт, что рассказ ведется от первого лица, человеком, который сам лично всё это пережил, увеличивает странность его путешествия и фантазмагию окружения.

«ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ»

В этом и заключается поэтика сна, которая была одним из главных художественных принципов сюрреалистов и сюрреалистической тенденции — сон сплетается с действительностью, создается модель мира со своей собственной логикой причинности, пространства и времени.

Владимир Осипов

К читателям Самиздата

Узнав о публикации в журнале «Грани» (№ 80) моего очерка «Площадь Маяковского, статья 70-я», я вместе с тем узнал о некоторых неточностях, допущенных в редакционном *Приложении* к очерку. Поскольку никаких контактов с зарубежными изданиями я, увы, не имею, я сообщаю свои поправки и дополнения доступной мне отечественной аудитории, тем более, что советские читатели Самиздата знают мой очерк уже более года.

Итак. Мой друг Анатолий Михайлович Иванов (псевдоним — Новогодний; рожд. 1935 г.) учился вместе со мной на историческом факультете МГУ. 31 января 1959 г. он был арестован по делу Авдеева (Игорь Васильевич Авдеев, рожд. 1934 г., поэт, инженер-энергетик, обвинялся в том, что переводил и давал читать своим друзьям статьи из иностранных газет). При обыске у Иванова была изъята его рукопись «Рабочая оппозиция и диктатура пролетариата». 5 мая 1959 г. Мосгорсуд приговорил Авдеева к 6-ти годам лагерей, а Иванова (Новогоднего) направил на принудительное лечение в тюремную психобольницу в Ленинграде. Освободился он в августе 1960 г. Через год, 6 октября 1961 года вновь арестован (в один день со мной и Кузнецовым Э. С.) и по определению Мосгорсуда вновь направлен в тюрьму-больницу, только на этот раз — в Казань. Виталий Ильич Ременцов (рожд. 1935 г.), так-

Рукопись В. Осипова получена нами из России, где распространяется Самиздатом. — Р е д.

же приговоренный к принудлению, был отправлен в Ленинград и умер вскоре после освобождения в 1965 г.

После 3-хлетнего «лечения» в Казани Иванов вернулся в Москву (к началу 1964 года). Стихи пишет, но, однако, его основные занятия — история России и публицистика.

Ленинградцы — Вагин, Бородин, Ивойлов, Аверичкин, а также москвичи — Осипов, Хаустов — родились в 1938 г. Огурцов родился 22 августа 1937 года в Волгограде, но все зрелые годы прожил в Ленинграде. Арестован 15 февраля 1967 г. в один день с Садо, Вагиным, Аверичкиным. Приговор: 7 лет тюрьмы, 8 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки — всего 20 лет.

Администрация Владимирской тюрьмы, где теперь находится Огурцов, часто переводит его в карцер, вынуждает на голодовки, подсаживает в камеру уголовников, один из которых 20 декабря 1970 г. (в день чекиста) жестоко избил Игоря.

Участники марксистской организации «Союз патриотов России» осуждены Мосгорсудом в 1958 г. на следующие сроки: Л. Н. Краснопевцев, Л. А. Рендель и В. Меньшиков — 10 лет; В. Козовой (переводчик), Семиненко, М. Чешков (специалист по Вьетнаму) — 8 лет; Н. Г. Обушенков (кандидат исторических наук), Гольдман и Покровский — 6 лет. «Патриоты России» считали желательным синтез «лучших» сторон большевизма, меньшевизма и троцкизма. В лагере Краснопевцев, Меньшиков и некоторые другие их поделельники вели антирелигиозную пропаганду, сотрудничали с администрацией, писали покаянные статьи. В настоящее время из «Союза патриотов» один Л. А. Рендель подвергается дискриминации и травле. Проживая в г. Конаково Калининской области, он даже лишен права ездить к жене в Москву. Так, в июле 1971 г. милиция оштрафовала жену за то, что муж находился у нее в квартире. Рендель — автор целого ряда работ по истории.

В отношении Машкова ошибки не допущено. Я действительно имел в виду *Юрия Тимофеевича Машкова* (рожд. 1937 г.). Его жизнь особенно полна страданий. Проучившись 5 лет в МВХПУ (б. Строгановское училище), он бросает его и заново поступает на 1 курс юрфака МГУ, чтобы получить профессию адвоката и защищать потерпевших от произвола властей. В ноябре 1958 г. был арестован и за проповедь анархо-коммунизма осужден Мосгорсудом 8 - 14 мая 1959 г. на 7 лет лагерей строгого режима. Вместе с ним были осуждены: Надар Григолашвили, студентка физмата МГУ Валентина Цохмистер и химик Александр Богачев — на 7 лет; биолог Вадим Попов — на 3 года и Надежда — на 2 года. Н. Григолашвили много путешествовал по стране, в момент ареста работал шахтером около Тулы. 20 июня 1962 года Григолашвили совершил побег (на моих глазах: наша бригада убирала сено за пределами «своего» 17-го лагпункта. — В. О.), но на 16-й час свободы был выдан лесником и получил дополнительно 3 года тюрьмы. К концу срока стал иеговистом. Юрий в лагере стал православным. Освободился Машков в октябре 1965 г., а через 9 месяцев свободы был вновь арестован вблизи советско-финской границы. С 9 по 28 марта 1967 г. Ленинградский областной суд приговорил Ю. Машкова к 13 годам лагерей особого режима и 3 годам ссылки, его жену В. Машкову (Цохмистер) — к 10 годам лагерей строгого режима и его брата (по матери) Михаила Петровича Рогачева (рожд. 1942 г.) — к 4 годам. Все трое обвинялись по ст. 15, 64 п. «а» УК РСФСР в покушении на измену Родине. Машков заявил, что он хотел уйти на Запад с единственной целью — поступить на *богословский* факультет в каком-нибудь зарубежном университете и получить высшее теологическое образование. Дело в том, что при попытке поступления в Московскую духовную семинарию ему было отказано по причине политической неблагонадежности. Валентина Машкова (рожд. 1938) и Михаил Рогачев ви-

новными себя не признали. Машкова в момент ареста была беременна, в тюрьме 1 февраля 1967 г. родила дочь. Во время суда младенец находился возле скамьи подсудимых, и мать кормила его грудью во время судебных заседаний. Вместе с «беглецами» был осужден на 3 года, якобы за недоносительство, Иван Васильевич Овчинников (рожд. 1929 г.), в прошлом — политзаключенный. В процессе суда были грубо искажены протоколы судебных заседаний, так, что даже Верховный Суд РСФСР вынужден был отменить приговор.

Новый суд начался в сентябре 1967 г. и закончился 4 апреля 1968 г. На этот раз Леноблсуд осудил Ю. Машкова на 10 лет лагерей строгого режима, В. Машкову — на 6 лет, М. Рогачёва — на 4 и Овчинникова — на 3 года. Кстати, Овчинников отбывал наказание вместе с уголовниками. В настоящее время Юрий Машков находится на 19-м лагпункте, а его жена — на 3-м лагпункте Дубровлага (Мордовская АССР, ст. Потьма).

Юрия Александровича Храмцова в список политических мучеников я включать не стал, т. к. хотя он и лишен свободы с 1953 года по сегодняшний день, но был осужден за проступок, единодушно осуждаемый всеми русскими патриотами, — согласие стать американским разведчиком. Мы знаем, что этот шаг 19-летний Храмцов сделал по идейным мотивам, но в таком нечистом умысле даже убеждения не могут быть оправданием. Из чисто гуманных соображений можно, однако, заметить, что за свое намерение он отсидел 19 лет, был тяжело ранен своим компаньоном сразу после перехода границы в начале 1953 года, практического ущерба нашему государству не нанес и что по ныне существующему законодательству «потолок» наказания в СССР — 15 лет, а не 25, как у Храмцова. Президент Никсон, к которому Ю. А. Храмцов (как принявший американское гражданство) обратился в 1970 г. за помощью, ничем ему не помог. Больше того: обращение к президенту США явилось предлогом водворения Храмцова в

застенков Владимирской тюрьмы, где он, будучи очень болен, наверняка умрет в ближайшие месяцы. По своим личным качествам Храмцов — честнейший человек с безупречной репутацией среди политзаключенных. В лагере стал глубоко верующим христианином.

Наконец, упомяну о собственной неточности. Донос Александра ГИДОНИ (который узнал мало) не убедил чекистов, что организация ВСХСОН действительно существует. Это доказал другой предатель — член ВСХСОН Петров Владимир Федорович, сотрудник Ленинградского института оптики. Кстати, невеста, узнав, что он предал своих друзей, оставила его.

Таковы мои замечания и поправки.

10 декабря 1971 г.

Пьер Леконт дю Нуи

1883—1947

Пьер Леконт дю Нуи — потомок старинного рода людей искусства, художников и ваятелей, чьи итальянские предки эмигрировали во Францию еще в начале XV века, родился в Париже 20 декабря 1883 года. Его отец провел большую часть своей жизни в Румынии, где он выстроил соборы в Куртя-де-Арджеш и в Яссах. Будучи слаб здоровьем, Пьер Леконт дю Нуи провел ранние годы своей жизни в Нормандии, в Этрета́, где воспитывался бабушкой и матерью, оказавшей влияние на всю его жизнь.

Только упорная физическая тренировка дала ему силы выполнить столь огромную работу в столь краткий срок. Хороший наездник, он, увлекшись рассказами о ковбоях, сам научился владеть лассо и девятнадцати лет от роду совершил верхом путешествие по Западу Соединенных Штатов, останавливаясь для заработка в различных ранчо.

Получив в том же году дипломы Школы Восточных Языков, Школы Политических Наук, а также Юридической Школы, он был назначен личным секретарем тогдашнего министра юстиции Аристиды Бриана.

Но ни закон, ни политика не интересовали Пьера Леконт дю Нуи, и он подал в отставку, рассчитывая после успеха нескольких написанных им спортивных репортажей, приключенческих рассказов и театральных пьес зарабатывать на жизнь пером. Его пьесу «Мо,

гордость Обреченного Лагеря» провозгласили шедевром, но Леконт дю Нуи, вечно собой не удовлетворенный, стремясь к самосовершенствованию путем прямого контакта со зрителем, согласился сыграть главную роль в одной из пьес Франсиса де Круассе. К удивлению всех своих друзей, он отказался от предложенных ему первых ролей в других пьесах, так как только то, что требовало наивысших интеллектуальных усилий, могло заинтересовать его надолго, а светские и театральные успехи не удовлетворяли его умственных запросов и не приносили ему счастья.

Леконт дю Нуи интересовался решительно всем, и именно потому, что он всегда хотел сам всё понять и не принимал на веру ни стереотипных выражений, ни новых мыслей, не вникнув в них прежде, он не переставал совершенствоваться до самого конца своей жизни.

Наука привлекала Пьера Леконт дю Нуи с самого раннего детства: уже в десятилетнем возрасте он проводил всё свободное время за чтением работ по физике, а также сам производил опыты; ему было всего шестнадцать лет, когда он взял свой первый патент на винт для подводной лодки. В его семье всегда считали, что он станет писателем, подобно своей матери, многие романы которой пользовались успехом, и его философские наклонности развились благодаря тем занятиям, которые он втайне продолжал во время своей работы для театра. Как и большинство французской молодежи того времени, он испытал влияние Тэна и Ренана. Тэн полагал, что всё на свете в конечном итоге сводится к движению молекул, и считал, что все проблемы — проблемы чисто механические. Ренан отвергал всякое понятие мистики. По его мнению, наука практически могла бы занять место религии. Мысль о значительности научных теорий и убеждение, что в будущем философия должна будет считаться с наукой, постепенно овладели умом Пьера Леконт дю Нуи. Если

эта точка зрения соответствовала истине, то, прежде чем писать на философские темы, следовало сначала углубить свои научно-технические знания. Так, в 1913 году Пьер Леконт дю Нуи записался в Сорбонну на теоретические и практические курсы по физике и физической химии.

Начав войну 1914 года лейтенантом пеших егерей, Леконт дю Нуи, обладавший редкими по тем временам знаниями механики, был, после отступления на Марне, переведен в автотранспортную часть. Эта часть стояла в городе Компьень, откуда по ночам подвозили припасы на передовую, что позволило Пьеру Леконт дю Нуи посетить фронтовой госпиталь № 21, возглавлявшийся доктором Каррелем. Доктор Каррель, заинтересовавшись идеей Пьера Леконт дю Нуи о возможности приложить некоторые физические методы к проблемам биологии, пригласил его поработать при госпитале в свободное от службы время. И так Леконт дю Нуи проводил в госпитале большую часть времени и смог выработать способ точного определения размеров и совершенно автоматическую систему промывания глубоких ран. Подав просьбу о переводе Пьера Леконт дю Нуи в госпиталь, ответ на которую пришел через год, Каррель поручил ему найти математическую формулу рубцевания ран. Леконт дю Нуи нашел эту формулу через три месяца, что позволило доктору Каррелю научно контролировать качество различных антисептических средств и избрать так называемое решение Карреля-Дакена как наиболее соответствующее кривой, найденной Пьером Леконт дю Нуи.

Это был первый случай применения математической кривой в биологических исследованиях, и, прежде чем ему присудили степень доктора физико-математических наук, диссертация Пьера Леконт дю Нуи, основанная на этой работе, вызвала многочисленные дискуссии. Много позднее Леконт дю Нуи вывел из этих опытов свое понятие «биологического времени».

К концу войны д-р Каррель пригласил Пьера Леконт дю Нуи в Рокфеллеровский институт в Нью-Йорке, куда он был назначен научным сотрудником в 1920 году и где основал первую биофизическую лабораторию.

Изобретенный и сконструированный им ручную тензиометр* из случайно подвернувшихся «деталей», включая бечёвку и шпильку для волос, стал теперь изготавливаться в Чикагской главной научной компании. Приобретший широкое и повсеместное распространение как в промышленности, так и в области чистой науки тензиометр в 1923 году получил почетную грамоту Франклиновского института.

Разработав тщательным образом технологию, Леконт дю Нуи приступил к опытам с молекулой натрия, что позволило ему определить ее величину в трех измерениях, а также установить значение числа Авогадро, весьма близкое к величине, найденной Милликенем. Первый научный труд Пьера Леконт дю Нуи «Поверхностное равновесие коллоидальных растворов» был издан в США в 1926 году.

В том же году Леконт дю Нуи создал при парижском Пастеровском институте первую в Европе биофизическую лабораторию. Со временем эта лаборатория превратилась в маленький институт, с собственной установкой рентгеновских лучей, отделением для культивирования живой ткани, физической, химической и биологической лабораториями, а также механической мастерской.

Десять лет, проведенных Пьером Леконт дю Нуи в Пастеровском институте, оказались чрезвычайно плодотворными и в научном смысле, и в плане его духовного развития. Впервые открытые им в этот период двенадцать феноменов (явлений) в значительной мере

* Аппарат для измерения поверхностного напряжения. —

осветили таинственный дотоле механизм иммунитета. Пришлось изобрести множество новых или модифицировать прежние инструменты, чтобы их приспособить для решения биологических проблем. Леконт дю Нуи затратил немало времени на разработку и проверку новейшей техники, так как старался по возможности избежать малейшей ошибки. Все эти опыты по исследованию ряда свойств кровяной сыворотки, нагретой свыше 56°C , (вязкость, вращение плоскости поляризации, непрозрачность или оптическая плотность, коэффициент деполяризации, осаждаемость, электрическая проводимость и коэффициент рН) обнаружили в ней никогда ранее не замеченные физические различия. Эти опыты показали также, что действие нагревания на сыворотку невозможно объяснить сцеплением молекул между собою. Леконт дю Нуи выдвинул гипотезу, согласно которой это действие можно объяснить тем, что при нагревании молекулы кровяной сыворотки увеличиваются в объеме путем постепенной гидратации* и что сыворотка и плазма являются настоящими растворами, содержащими в себе рассеянные молекулы, а не коллоидальными. В своей книге «Критическая температура сыворотки», опубликованной в 1936 году, Леконт дю Нуи описывает как все эти опыты, так и объясняющую их гипотезу.

В книге «Время и жизнь», изданной в 1933 году, Леконт дю Нуи впервые попытался построить философскую концепцию своих научных опытов. Он сделал обзор своих прежних экспериментов по рубцеванию ран, которые показали, что максимальный размер раны, которую организм может восстановить нормальным путем, зависит от возраста раненого. Старость, по-видимому, вносит в организм необратимые изменения, которые Леконт дю Нуи впервые выразил точными цифрами. Из этих опытов он вывел также то заклю-

* Впитывание воды. — Р е д.

чение, что есть существенная разница между временем умозрительным, звездным и временем, основанном на наблюдении вселенной и протекающем равномерно, и временем физиологическим, связанным с биологическими реакциями в тканях и жидкостях внутри нашего организма.

После долголетних трудов Пьер Леконт дю Нуи постепенно убедился в том, что новые научные теории не только не оправдывают материалистических взглядов, но наоборот, требуют для объяснения жизненных явлений признания некой внешней, еще недоступной науке силы. Следовательно, утверждение, что наука якобы уже доказала отсутствие Бога, — иллюзия, и Пьеру Леконт дю Нуи представлялось чрезвычайно важным, чтобы именно ученый хотя бы вкратце коснулся этого вопроса.

Первые главы книги Леконта дю Нуи «Человек перед лицом науки», появившейся в 1936 году, говорили о целях науки, о методах и проблемах научного анализа. Цель науки — предвидеть. Существование того, что мы называем реальностью, нашим миром, зависит от наших нервных восприятий, которые дают нам известное образное представление о действительности, причем представление это может быть аналогичным для всех нормальных живых существ. В отсутствие человека мир (вселенная) не имеет больше ни формы, ни красок. Когда мы хотим понять какое-нибудь сложное явление, мы должны его проанализировать, то есть разложить на составные части. Но изолируя факт с целью его изучения, мы искусственно отводим ему начало и конец. В природе же нет изолированных явлений, как нет изолированных звуков в мелодии.

Анализ какого-либо явления, подчиняющегося одному из физико-химических законов, постоянно приводит нас к заключению, что в основе явления лежит абсолютный беспорядок, который позволяет нам, пользуясь теорией вероятностей или законами случайно-

сти, предвидеть цепь явлений и их гармоническую связь, так что мы можем сказать, что на доступном нам уровне наблюдения порядок рождается из беспорядка. Мы не в состоянии вычислить степень вероятности сотворения жизни. Проблема эта слишком сложна, однако мы можем ее упростить, вычислив степень вероятности появления одной-единственной основной несимметрической молекулы. Мы увидим тогда, что у такой молекулы есть лишь один шанс на появление в тот отрезок времени, который неизмеримо превышает возраст солнца и возраст вселенной. Это значит, что вычисление степени вероятности неприменимо к данной проблеме. Мы должны, таким образом, привести сюда какую-то внешнюю причину и ограничиться предположениями, не имеющими научной ценности.

Убедившись, что законы случайности не могут объяснить возникновение жизни на земле, Леконт дю Нуи оставил в стороне этот вопрос и занялся изучением проблемы эволюции. В книге «Будущее духа», изданной в 1941 году, он показывает, что естественная эволюция живых существ была бесспорно доказана наукой. С другой стороны, замечает он, эта эволюция идет в направлении, обратном второму принципу термодинамики, принципу Карно-Клаузиуса, который является ключом к нашему познанию неорганической материи. Эволюция противоречит также и законам случайности, которые не могут объяснить равномерного развития от первичной клетки до человека с его мозгом, сознанием, абстрактными и духовными понятиями.

Бесполое размножение не знает смерти. Оно бессмертно. В ходе развития живых существ рождение и смерть отдельного индивида оказались совершенно новыми явлениями, но ясно, что для развития рода половое размножение было необходимостью, так как позволяло изменять и обогащать наследственность путем межродового скрещивания; мы можем сказать, что

с точки зрения эволюции смерть оказалась самым важным изобретением природы. Начиная с этого момента, эволюционный процесс разворачивается благодаря переходящим индивидам, и только благодаря им.

Если мы принимаем идею эволюции, то нужно признать, что в среднем, с самого начала мироздания, эволюция шла по восходящей, направленной в одну лишь сторону расширения границ разума и свободы. Вот почему Леконт дю Нуи выдвигает гипотезу того, что он называет «телефинализмом», от греческого слова «теле» (удаленный) и «финализм» (в смысле конечной достигнутой цели). Другими словами, телефинализмом он хотел бы назвать некую ведущую силу, которая направляет эволюционный процесс в целом и стремится к созданию существа, наделенного сознанием, существа духовно и морально совершенного. По мнению Пьера Леконт дю Нуи, эволюцию следовало бы рассматривать как глобальное явление, прогрессирующее и необратимое, возникающее в результате постоянного и сложного взаимодействия простейших механизмов, таких, как приспособляемость у Ламарка, естественный отбор — у Дарвина и внезапные мутации — у Фриса.

Мерилом приспособляемости является *полезность*, а мерилем эволюции *свобода*, ибо как только в развитии какого-либо животного вида достигается равновесие, означающее его идеальную приспособляемость, дальнейшая эволюция сама собой прекращается. Однако, из всех ветвей животного мира лишь одна никогда не смогла достичь равновесия и продолжает существовать. Она обладала, вероятно, известной долей неустойчивости, которую можно назвать «творческой неустойчивостью». Эта линия привела к человеку. И с самого начала человек пользовался гораздо большей свободой, чем другие млекопитающие.

Книгу «Будущее духа» Леконт дю Нуи написал в Париже во время немецкой оккупации. События,

предшествовавшие поражению Франции и заключению перемирия, до глубины души потрясли Пьера Леконт дю Нуи. В период трагических испытаний лета 1940 года постепенно сформировалась его теория телефинализма и окрепли его духовные убеждения. Несмотря на обилие фактов дьявольской жестокости жаждущих власти людей, несмотря на крушение нравственных и духовных принципов, с таким трудом выработанных в течение веков, Леконт дю Нуи провозгласил, что назначение человека — стремиться к духовному идеалу, как к некой конечной цели.

Всю свою жизнь Леконт дю Нуи восставал против любых попыток принуждения, от кого бы они ни исходили, и в атмосфере оккупированной Франции он буквально задыхался. С помощью членов Французского Сопротивления, с которыми он совместно работал, ему удалось перебраться сначала в свободную зону Франции, оттуда — в Португалию и, наконец, в начале 1943 года — в Соединенные Штаты.

Там он написал третью часть своей трилогии «Человеческое достоинство», в которой глубоко развил свои идеи о приспособляемости, инстинкте и интеллекте.

Книга «Человек и его назначение», написанная в 1945-46 гг., является не только синтезом трех предыдущих книг, но и с большей полнотой излагает его мысли о Боге и о той нравственной и духовной цели, к которой должно стремиться человечество.

Гипотеза телефинализма Пьера Леконт дю Нуи имеет то преимущество, что она определяет место всех прежних различных эволюционных теорий и координирует их между собой. Этой гипотезой он впервые логически доказывает то, что *непрерывность* эволюции исключает случайность. Но исключив случайность, мы вновь впадаем в то, что Эддингтон называет «анти-случайностью»: признаем ту силу, которая стремится

всегда в одном направлении, к одной цели, и которую мы можем вполне наименовать Богом.

Но Бог Пьера Леконт дю Нуи не есть антропоморфный Бог, созданный по нашему образу и подобию. Леконт дю Нуи полагал, что если мы могли бы представить себе Бога, то мы не могли бы больше в Него веровать, так как наше представление, будучи человеческим, сейчас же возбудило бы в нас сомнения. Более того, не создаваемый нами образ Бога доказывает бытие Бога. Его доказывают усилия, затрачиваемые нами для создания этого образа.

Пока в нем не пробудилось сознание, человек подчинялся законам природы. Но едва он спросил себя, «хорошо» ли он поступает, или можно поступить «лучше», он тем самым обрел свободу, недоступную животным. Эта новая свобода была необходима для продолжения эволюции. Следовательно, *всякое ограничение свободы совести противоречит великому закону эволюции, ибо прогресс зависит от личного усилия.*

В свете своей теории телефинализма Пьеру Леконт дю Нуи казалось возможным попытаться определить понятия Добра и Зла. «Добро — это то, что способствует прогрессу восходящей эволюции и что лучше отделяет нас от животных, увлекая на путь свободы». «Зло — это то, что противится эволюции и уклоняется от нее, возвращаясь назад к прежнему рабству, к Зверю». Другими словами, Добро есть уважение к человеческой личности, а Зло — презрение к этой личности. Такой вывод особенно важен в наше время, когда почти повсеместно распространена тенденция жертвовать благом отдельного человека ради блага всего общества.

В предисловии к своей книге «Человек и его назначение» Леконт дю Нуи пишет, что отрицание свободы воли, отрицание моральной ответственности,

взгляд на человека как на простую физико-химическую единицу, как на частицу живой материи, едва отличающуюся от других животных, — все это неизбежно влечет за собой нравственную смерть человека, уничтожение всякой духовности, всякой надежды, ужасное и обескураживающее чувство своей полной бесполезности.

Леконт дю Нуи полагал, что главное отличительное свойство человека именно как человека — это его способность мыслить отвлеченно, моральными и духовными категориями; последние такая же реальность, как и его плоть, и только ими он вправе гордиться. Поэтому ему казалось важным научно доказать, что у каждого человека своя особая роль, что он свободен играть ее или нет, что он — звено в общей цепи, а не соломинка, которую уносит поток; что в итоге человеческое достоинство — не пустые слова, и если человек в этом не убежден и не стремится достичь этого, — он опускается до уровня животного.

Пьер Леконт дю Нуи высказывает мысль о том, что «бесполезные деяния», как он их называет, в сущности, единственно стоящие, и только они оставили по себе наибольшую память в истории человечества. Под «бесполезными деяниями» Леконт дю Нуи понимал «не абсолютно необходимые для сохранения жизни». Человек меняет властелина. В нем зарождаются желания и понятия эстетического характера, которые он может материализовать посредством своих рук; теперь человеку уже недостаточно лишь удовлетворять свои потребности. Раньше он просто смотрел на окружающий его мир; отныне он его видит. Он размышляет, подражает, изобретает, познает. В нем пробуждается чувство прекрасного. Проявление этого эстетического чувства, очень быстро достигшего необычайно высокого уровня, — есть первая осязаемая очевидность нового направления эволюции, истинный источник подлинной мысли.

Принципы морали существуют уже с глубокой древности, но, по всей вероятности, вначале их было очень мало. Однако, едва возникло настоящее общество и зародилось понятие о санкциях, эти принципы стали быстро развиваться. Шесть тысяч лет назад они были почти те же, что и сейчас; быть может, лишь менее широко распространены. Впрочем, повседневные примеры способны внушить пессимисту мысль о том, что пропасть, отделяющая человека от животного, не так велика, как думали.

В настоящее время вопрос стоит так: что одержит верх — знание или нравственность? Судьба и счастье всего человечества зависят от того решения, которое изберет человек.

До сих пор человек стремился, главным образом, к господству над окружающим его миром; в будущем ему следовало бы научиться владеть самим собой. Наша приверженность к чувственным удовольствиям, напоминающая нам о нашем животном происхождении, свидетельствует о том, что мы как люди находимся еще в самом начале своего развития. То, что некоторые из нас восстают против такого физиологического рабства, доказывает, что в нас заложено и кое-что другое.

Накопление познаний, как бы оно ни было значительно само по себе, нисколько не возвышает человека, если он пользуется ими только для внешних целей и для материальной выгоды и достигает конца своей жизни, по-настоящему не развившись как личность, отвечающая за судьбы человечества. Такая интеллектуальность приводит только к утилитарной морали, на вид практичной, но лишенной того таинственного императивного характера, который мы скорее чувствуем, нежели понимаем, и который дает силу и престиж нравственному закону. Мы должны признать реальность этих иррациональных стремлений, которые сами собой возникают у человека, делая его

счастливым. По справедливости говорится, что всё, что нас делает счастливым, не может быть нереальным.

Некоторые исключительно одаренные люди, которых можно сравнить с животными в переходной стадии, опередили свое время. Эти люди достигли очень высокой степени развития; им было суждено сыграть большую роль и выполнить высшее предназначение: направить человечество по пути, отдалявшему его от животного. Странная вещь: несмотря на все препятствия, несмотря на то, что их учение было менее соблазнительным и требовало жертв, именно эти люди добились наивысшего авторитета в истории, а их наставления живы по сю пору и затмили своим блеском все другие учения. Каждый из нас индивидуально должен по мере своих сил продолжать то, чему они учили, и, таким образом, способствовать повышению общего уровня человечества. Только внутри самих себя можем мы найти те начала, которые позволят нам содействовать успеху эволюции и соучаствовать в божественном творении.

Как это доказывает Леконт дю Нуи, человечество прогрессирует только благодаря усилиям каждой отдельной личности и что в области духовной эволюции приспособляемость действует таким же образом, как она действовала в области эволюции биологической. Прогрессирует не та «порода», которая лучше приспособлена к внешним условиям, но та, которая обладает известной «творческой неустойчивостью».

Люди интеллигентные, люди, ведущие образцовую и активную жизнь, исполняющие, казалось бы, свой общественный долг, не обязательно принадлежат к этой развивающейся «породе». Если они не стараются постоянно *продвигаться вперед*, совершенствуясь морально и духовно, они неизбежно *откатываются назад*, ибо сама жизнь никогда не стоит на месте.

С незапамятных времен появлялись люди, которые провозглашали свою веру в свободную волю человека и боролись за национальную, политическую и индивидуальную свободу, в то время как другие утверждали, что человек есть раб наследственности, окружающей среды и воспитания; что он неспособен действовать как свободная личность. Это последнее убеждение почти неизбежно ведет к той или другой форме диктатуры и к порабощению большинства меньшинством, так как отрицание свободы воли равноценно отрицанию человеческого достоинства, а отрицание человеческого достоинства оправдывает царство насилия.

Несмотря на то, что люди, отрицающие свободу воли, были весьма на виду с начала XIX века и особенно в наши дни, стремление к национальной и личной свободе не только не иссякло поныне, но, наоборот, повсюду возросло.

В настоящее время стремление добиться независимости физической, политической и национальной кажется более сильным, чем желание завоевать свободу умственную и духовную. Если вдуматься, это становится понятным: ведь в первом случае можно и даже *должно* добиваться свободы, объединившись в группу; большинство же людей суть стадные животные. Индивид не чувствует себя персонально ответственным за исход борьбы, даже если ему приходится бороться против человеческой зависти, честолюбия, установившихся учреждений и предрассудков. Напротив, желание умственно и духовно совершенствоваться требует от нас борьбы со своей собственной природой, и борьбу эту мы должны вести собственными силами, что часто кажется более трудным и менее способным дать немедленное удовлетворение. С другой стороны, мы *знаем*, что можем победить, ибо борьба происходит внутри нас и результат зависит только от нашей воли.

Но если логично и, быть может, даже необходимо попытаться сначала достигнуть политической и нацио-

нальной независимости, то надо помнить, что для сохранения и развития этих свобод необходимо завоевать свободу мысли и духа. Действительно, не следует забывать, что нация состоит из отдельных личностей, и если эти люди не сумеют подавлять своего властолюбия и своей ненависти, самое передовое правительство очень быстро развратится и выродится. Внутренние распри и падение морального уровня народов всегда предшествовали падению наций, империй, цивилизаций и предвещали его.

Воспитание является орудием прогресса, одним из орудий человеческого развития; но его превратно поняли как средство личного, национального и политического воздействия. Ничего нет легче, чем возбудить расовую или национальную гордыню, дух фанатической нетерпимости и сотворить себе кровожадного кумира. Нетронутая душа ребенка — идеальная почва для развития любой идеи: *хорошей* или *дурной*, но лишь одни диктаторы используют это простое соображение и могучую силу лжи.

Если повсюду в школах учили бы истине, тоталитарные государства не смогли бы более существовать. Преподавание истории везде неизменно грешит отсутствием беспристрастия в изложении конфликтов с иностранными державами: в каждой стране факты излагают таким образом, что данная страна всегда бывает права, а противник всегда неправ. История, построенная на лжи или на подтасовке фактов, становится опасной, поскольку все дети воспринимают ее как непреложную истину и начинают считать себя либо жертвами, либо «сверхлюдьми». Единственная история, имеющая какой-то смысл, единственно правдивая — это всемирная история. Как науку ее нужно преподавать, отмечая всякую национальную спесь.

Еще задолго до появления атомной бомбы Леконт дю Нуи писал, что «предоставленный самому себе разум опасен, если его не подчинить интуитивному или

рациональному восприятию моральных ценностей. Впервые за всю историю человечества конфликт между чистым разумом и моральными ценностями сделался вопросом жизни и смерти не только для отдельных людей, но и для всего человечества».

Прогресс зависит от личного усилия, и подавить это усилие было бы преступлением. Истинный уровень человечности выражается именно в интенсивности этого личного усилия, а не в его форме или результате. Человек характеризуется не столько тем, что он делает в течение своей жизни, сколько тем следом, который он, подобно падающей звезде, оставляет за собой. Нельзя не поразиться несоответствию между сроком жизни человека и сроком его влияния на последующие поколения. Каждый из нас оставляет такой след, скромный или яркий; и это убеждение должно было бы проявляться во всех делах нашей жизни. Каждый человек есть нить, связующая предшествующие и последующие поколения, и он в известной степени ответствен за прогресс или регресс человечества.

Если бы мы смогли уверовать в то, что мы не просто листья, случайно гонимые ветром, но существа вполне ответственные, что мы можем не только влиять на нашу собственную судьбу, но и на судьбу всего человечества, тогда наша жизнь обрела бы смысл; мы ощутили бы солидарность со всем человечеством, так как все мы стоим перед лицом *одинаковой* ответственности, у всех у нас *одна* общая цель, которая должна направлять наши наиболее возвышенные усилия; и мы знаем, что даже если мы и не достигнем этой цели при жизни, само усилие нас возвышает и имеет значение независимо от результата.

Книга «Человек и его назначение» не только послужила помощью и вдохновением для многих ее читателей, но и сам Леконт дю Нуи во время последней болезни почерпнул большую поддержку в своих собственных теориях. В горниле страданий, когда ор-

ганизм Пьера Леконт дю Нуи был подточен болезнью, его теории претворились в личное верование. По мере того как истощалась его плоть, дух Пьера Леконт дю Нуи, казалось, сиял всё больше, так что даже самые закоренелые циники уходили от него глубоко потрясенными соприкосновением с той силой, которую не могли им объяснить их материалистические убеждения и которая была результатом постоянного стремления Пьера Леконт дю Нуи жить согласно принципам, провозглашенным в «Человеке и его назначении»:

«Всеми силами стремясь совершенствоваться, воздвигая внутри себя храм, строго судя свои поступки, человек непроизвольно формирует свою душу, так что она, как бы переполняясь, распространяется вширь, стремясь перелиться в души других людей. Ища самого себя, человек обретает своего брата. Чтобы идти вперед, он должен бороться с самим собой, он должен познать самого себя. Если он действительно себя познает, он научится снисхождению, и рухнут понемногу одна за другой преграды, отделяющие его от ближних. Нет пути к человеческой солидарности, как признание и уважение личного достоинства каждого человека».

Перевела с французского Т. Гофман

Библиография

«РАСКОЛЬНИК» ИЛИ ЖИЗНЬ И ДЕЛА НИКОСА КАЗАНДЗАКИСА

Величие гор открывается нашему взгляду лишь на расстоянии — в пространстве. Величие писателей открывается нашему духовному взгляду лишь на расстоянии — во времени. Прошло пятнадцать лет со дня смерти греческого писателя Никоса Казандзакиса. На его могиле, на родном его острове Крите, где он похоронен, выгравированы на камне продиктованные им перед смертью слова: «Я ничего не боюсь. Я ни на что не надеюсь. Я — свободен».

Какое место занимает Казандзакис в современной литературе? Еще при его жизни, его сравнивали с величайшими писателями прошлого. Английский критик Колин Вильсон утверждал, что Казандзакис равен таким гигантам XIX века, как Толстой, Достоевский, Ницше. Томас Манн сравнивал его с Гомером и с поэтами древней Греции. Альберт Швейцер считал роман Казандзакиса «Христа распинают вновь» вершиной литературы XX века. Как мастер художественного слова Казандзакис стоит исключительно высоко. В развитии новогреческой литературы заслуга его заключается в том, что он одним из первых стал писать на народном языке (димотики), обогащая классический литературный язык сотнями выражений и тысячами слов, почерпнутых из говора и наречий крестьян и рыбаков разных провинций Греции. Он перевел на язык «димотики» всего Данте, Гомера, трагедии Шекспира и немало классиков мировой литературы. Одной из отличительных черт Казандзакиса являлось его стремление постоянно оставаться на высшем духовном уровне: вечными спутниками его жизни были Христос, Будда, Дон Кихот, Одиссей, святой Франциск Ассизский, Ницше, Эль Греко и ... Ленин! Он был учеником философа Бергсона и другого великого гуманиста Альберта Швейцера. Сам о себе он лирически писал в труде своей жизни, полуавтобиографической поэме «Одиссея»: «Сердце его было капелькой света, которая боролась с волнами и упорно плыла против течения по блуждающей реке ночи».

БИБЛИОГРАФИЯ

Всю свою жизнь Казандзакис плыл против течения. Недаром вышедшая недавно и посвященная ему книга его вдовы Елены Самиос-Казандзакис носит название «Раскольник»*. Книга эта могла бы называться также и «Бунтарь» или «Непокорный». Составлена она, не слишком умело, из писем писателя и воспоминаний о нем. Однако исключительная ее ценность в том, что она дает богатейший материал об идейной и духовной жизни Европы двадцатых и тридцатых годов нашего столетия, в котором сам Казандзакис принимал такое большое участие.

В центре внимания этой жизни было величайшее историческое событие: русская революция. В Европе на нее смотрели глазами, полными восхищения и страха, и видели в ней не столько то, чем она была на самом деле, сколько то, что хотели в ней видеть. Этим и объясняется безумное увлечение ею всей левой интеллигенции — от Ромена Роллана и Анри Барбюса до Панаита Истрати и Никоса Казандзакиса. Его вдова вспоминает, как ее отец, видный греческий государственный чиновник, приветствовал русскую революцию словами: «Дети мои, мне кажется, что новый Христос родился в России...» Это перекликалось тогда и с революционно-мистическими настроениями в самой России. Вспомним Александра Блока и его поэму «Двенадцать»: «В белом венчике из роз — впереди Иисус Христос». А Луначарский в своем предисловии к полному собранию сочинений Блока видел в образе Христа — самого Ленина. И поэтому, даже если нас и шокирует, что наряду с Христом, Буддой, Магометом, Александром Великим и Леонардо да Винчи среди вечных спутников жизни Никоса Казандзакиса фигурировал и Ленин, то исторически это вполне объяснимо: русская революция в те годы многим казалась воплощением многовековых стремлений человечества к правде и справедливости. И символом этой революции был Ленин.

Со своей второй женой, Еленой Самиос, Никос Казандзакис

* **Eleni N. Kazantzaki. „Le Dissident“.** Editions Plon, Paris 1968, 582 pp. **Helen Kazantzakis. „Nikos Kazantzakis“.** Ed. Bruno Cassirer, Oxford 1969, 589 pp.

познакомился в 1924 году, когда ему было 42 года и он готовился к первому своему путешествию (вернее было бы сказать, к первому своему паломничеству) в СССР. В те дни он зачитывался Эсхилом, Гёте и Львом Шестовым. О Москве, которую он впервые увидел в ноябре 1925 года, Казандзакис писал в одном из своих писем: «Край света и край времени — так представляется мне этот лихорадочный город... Золотые купола церквей, красные флаги с серпом и молотом, обезображенные тяжелым трудом и свободой женщины, одержимые Идеей люди — все это хаос. Но я люблю хаос, при условии обнаружить тот ритм, который восстановит порядок: я радуюсь, я борюсь, я похудел». Далее мы узнаем из письма писателя, что он подолгу беседует в Москве о древних русских иконах и о своей недавней поездке на Святую гору Афон. На праздник Рождества Христова он уединяется в одной из московских часовен в толпе старушек, пришедших туда помолиться.

Вернувшись в Афины, Казандзакис поделился с читателями греческих газет и толстых литературных журналов своими впечатлениями о новой России. В основном впечатления эти были благоприятные, что немало возмутило консервативно настроенные круги. Однако и коммунисты остались неудовлетворенными: они обвиняли Казандзакиса в ереси и в мистицизме. В написанной им тогда «Апологии» писатель объяснил свое отношение к СССР следующим образом: «Я не нашел в России ни того рая на земле, о котором упрощенно кричали коммунисты, ни того ада, который видели в ней испуганные буржуа. Но я нашел там землю, где человек борется, ищет, пробует, сам подвергается испытаниям, чтобы открыть путь между старым миром, который душа его больше не приемлет, и новым идеалом, который тщетно пытается найти свое воплощение».

Уже в 1926 году Казандзакис считает, что с коммунистами ему больше не по пути и пишет философский очерк о «Метакоммунизме», в котором он видит попытку преодоления коммунизма, но не путем возвращения на старые позиции, а путем скачка вперед, на новые. В 1927 году советское правительство приглашает его на празднование десятилетия Октябрьской революции. Жадный до новых впечатлений, вечный путешествен-

БИБЛИОГРАФИЯ

ник Никос Казандзакис вновь возвращается в Москву. В своем чемодане он везет с собой несколько экземпляров английского перевода своего нового труда «Аскетика», в котором изложены итоги его идейных исканий в плане преодоления коммунизма.

Несмотря на то, что он замечает в советском обществе первые признаки «обуржуазивания», Россия вновь завораживает Казандзакиса. Он встречается там с румынским писателем Панаитом Истрати, и вдвоем они мечтают о том, чтобы навсегда переселиться жить в страну строящегося социализма. Да, конечно, далеко не все идеально в этой стране, но, с одной стороны, это ведь только начало, а с другой — отталкивание от старого, буржуазного мира слишком сильно у обоих писателей. В конце 1927 года они вновь в Афинах, а несколько месяцев спустя возвращаются вдвоем в СССР — теперь, как они думают, уже навсегда.

В Советском Союзе Казандзакис останется на этот раз около года, путешествуя по всей стране: Москва, Киев, Бухара, Самарканд, Красноярск. В Москве он встречается с последователем Троцкого писателем Виктором Сержем и сближается с поэтом Николаем Клюевым. Он пишет сценарий для кинофильма о Ленине, и сценарий этот признан соответствующей комиссией самым лучшим на эту тему, однако фильм в свет так никогда и не появится. Казандзакис и Истрати мечтают о своем участии в построении нового мира — и видят, наряду с этим, как вчерашние революционеры на глазах превращаются в закостенелых консерваторов.

Но политика Казандзакиса не интересует, и он не делает никаких политических заключений из всего, что ему дано наблюдать. «Мы увидели Россию слишком поздно...» — с горечью замечает он в одном из своих писем перед тем, чтобы навсегда расстаться со страной своих утопических мечтаний.

В отличие от многих других писателей той эпохи, разочаровавшихся в коммунизме после знакомства с советской действительностью, Никос Казандзакис не перейдет в лагерь противников СССР. Свои впечатления от трех пребываний в этой стране он зафиксировал в двух книгах: в своих путевых очерках «Что я увидел в России» и в своем романе «Тода Раба» (или

«Москва кликнула клич»), главное действующее лицо которого — попавший в Советский Союз негр. Коммунистическая критика очень сдержанно отнеслась к этим книгам Казандзакиса, упрекая его в том, что он так и не понял созидательных задач Октябрьской революции, оказавшись в плену идеалистических и нигилистических концепций.

Несмотря на все это, Россия, несколько идеализированная и поэтизированная Россия, останется до конца его жизни большой любовью греческого писателя. В октябре 1932 года ему дано было присутствовать в Мадриде на премьере пьесы семидесятилетнего испанского драматурга Бенаvente: «Русь, святая Русь». В своем письме к жене Казандзакис писал: «Перед тем, как поднялся занавес, Бенаvente вышел на сцену и продекламировал свою 'Молитву о России'; это — подлинное чудо теплоты, любви, понимания и страсти. К счастью, молитва эта уже опубликована, я купил ее и сделаю перевод для афинского журнала 'Киклос', чтобы вы могли прочитать ее... Бенаvente говорит то самое, о чем писал раньше и я, он говорит о 'распятой' России...»



Мистическое увлечение революционной Россией («о, если б мне дано было быть русским!» — восклицает Казандзакис в одном из своих писем) — лишь один из эпизодов объемистого труда, который Елена Самиос-Казандзакис посвятила тридцати трем годам своей совместной жизни с писателем (он скончался в 1957 году в Западной Германии в возрасте 74 лет). Свою книгу она делит на четыре части, соответствующие основным этапам жизненного пути Казандзакиса и его духовной эволюции. Часть первая — «В поисках нового мифа» (1883 - 1924): родившийся в бедной крестьянской семье на острове Крите под турецкой оккупацией, Никос Казандзакис получает высшее образование сперва в Афинах, затем в Париже, где он посещает курсы философа-интуитивиста Анри Бергсона. Увлеченный передовыми идеями западной интеллигенции, Казандзакис чувствует, что ему слишком тесно как в своей собственной стране, так и в том провинциально-реакционном обществе, которое «задает тон» в

БИБЛИОГРАФИЯ

Афинах. Часть вторая — «Великая утопия» (1924 - 1939): увлечение коммунизмом, поездки в Советский Союз, поиски новой правды, наконец разочарование. В крайне трудных материальных условиях Казандзакис, тем не менее, непрерывно путешествует по всему свету. В качестве корреспондента едет на Дальний Восток (Япония и Китай), посещает Святые места в Палестине, во время гражданской войны в Испании находится в этой столь близкой его сердцу стране (он — большой поклонник живописи Эль Греко и Гойи, прекрасно владеет испанским языком, переводит Сервантеса, дружит с философом Мигуэлем де Унамуно). Часть третья — «Разрушение мифов» (1939 - 1946): в оккупированной немцами Греции писатель приступает ко всеобщей «переоценке ценностей». Часть четвертая — «Отдать швартовы!» (1946 - 1957): после войны Казандзакис работает литературным советником при ЮНЕСКО в Париже, затем приступает к редактированию своих больших романов, которые приносят ему мировую славу. Это — самый плодотворный, с чисто литературной точки зрения, период его жизни. После поездки в коммунистический Китай и в Японию летом 1957 года он умирает от болезни в одной из клиник западногерманского города Фрейбурга.

Хотя он и играл при своей жизни немалую политическую роль, Никос Казандзакис никак не политический писатель и не политический мыслитель. Даже искусство, которым он всю жизнь страстно увлекался (недаром свою автобиографию он написал в виде обращения к художнику Эль Греко), оставалось всегда на втором плане. На первом же месте — Бог. Еще в 1915 году Казандзакис писал в своем «Дневнике»: «Зачитываюсь биографией Толстого. Его полет мысли меня волнует. Литература была для него недостаточна. Ему нужна была религия. Я должен исходить из того, к чему приходит Толстой».

Но с догматически христианской, церковной точки зрения Казандзакис всегда был еретиком, раскольников. Не Бог спасает человека, а человек должен спасти Бога, утверждал он. В своих письмах и дневниках он неоднократно указывает на то, что главная, быть может, даже единственная тема всего его творчества — это борьба человека против Бога, борьба материи

против духа. Но эта борьба не есть отрицание Бога, а — наоборот — высшая форма признания. Одна из самых сильных страниц замечательного романа Казандзакиса «Последнее искушение» (о жизни Христа) — та, где старый игумен монастыря на Синайской горе отказывается от пищи: будучи в гневе на Бога, он хочет умереть, чтобы пойти объясниться с Создателем, высказать Ему все то, что накопилось в душе*. Когда сперва греческая православная Церковь, а затем и католическая, объявили этот роман Казандзакиса вредной ересью, то писатель был страшно огорчен, удручен и возмущен: «Я писал его в состоянии большого религиозного подъема, — признавался он в одном из своих писем, — я писал его, испытывая страшную любовь ко Христу. И вот представитель Христа, Папа Римский, ничего не понимает в моем романе и осуждает его!». А в адрес ватиканской и греческо-православной комиссий, которые осудили его произведение, Казандзакис направил телеграмму со словами римского христианского мыслителя Тертуллиана: «к суду Твоему взываю, о Господи...»

Борьба против Бога во имя Бога, потому что — как утверждал Казандзакис — «суть моего Бога и есть борьба». Быть может, его религиозное сознание и было очень далеко от христианской традиции кротости и смирения, однако ни в пренебрежении к Богу, ни в равнодушии к религии греческого писателя обвинить никак нельзя. Он знает, что самое главное — это найти смысл жизни, и он знает также, что найти этот смысл можно только в поисках Бога. Казандзакис верит в то, что Бог — один, но что каждая эпоха, каждая раса, каждая цивилизация дают Богу свою определенную маску и что задача свободного человека в том и состоит, чтобы распознать вечного и единого Бога за прикрытием этих временных масок. Когда он впервые едет в Азию, он пишет своей жене, что отправляется туда, чтобы «увидеть желтый лик Бога». Вероятно, и в коммунизме он надеялся распознать в первую очередь «русский лик Бога», но, не найдя его, разочаровался в коммунизме и отошел от него.

* Nikos Kazantzaki. „La dernière tentation“. Ed. Plon, Paris 1959, 525 pp.

БИБЛИОГРАФИЯ

Как бы то ни было, но характерно то, что Казандзакис всегда видел в Ленине не политического вождя, не революционера и не мыслителя, а пророка новой веры.

«Нашему миру нужны герои, которые одновременно были бы и святыми», — сказал Казандзакис одному швейцарскому журналисту за несколько недель до своей смерти. В последние годы жизни он нашел такого героя в лице своего друга, мыслителя и гуманиста Альберта Швейцера. Именно образ Швейцера и вдохновил его написать книгу о деяниях святого Франциска Ассизского*. В последние дни своей жизни Казандзакис остро ощущал, что мир находится на краю гибели и что если он и будет спасен, то лишь благодаря героям, которые наподобие Франциска Ассизского и Альберта Швейцера — будут одновременно и святыми. Во имя этого и стоит бороться. Даже в том случае, если борьба эта безнадежна. Особенно в том случае, если она безнадежна. Потому что для того, кто борется именно в отсутствии надежды — по убеждению Казандзакиса — и есть залог свободы.

Б. Литвинов

ОТ «ПРИСКАЗКИ» ДО «СОВЕТСКОЙ РОССИИ»

(Шестой том Краткой литературной энциклопедии)

В самиздатовской статье «Трактат о прелестях кнута» неизвестный автор**, исследуя первые пять томов Краткой литературной энциклопедии, занялся «математикой богов» — подсчетом жертв всех «кругов» сталинской деспотии, погнавшей русскую литературу на этапы и за колючую проволоку.

* Nikos Kazantzaki. „Le pauvre d'Assise“. Ed. Plon, Paris 1957, 371 pp.

** Автор Самиздата: «Трактат о прелестях кнута». Литературно-публицистический сборник «Новый Колокол». Лондон, 1972.

Начальные тома КЛЭ, говорит автор статьи, назвали «а) 138 писателей, о которых кратко сказано: 'Незаконно репрессирован, реабилитирован посмертно'; б) 22 писателя, о которых этого не сказано (возможно, потому, что к моменту составления 1-го тома о них еще не было сведений), но это можно подозревать по ряду биографических данных...».

160 смертей на половину алфавита, на первые пять томов КЛЭ! 160 человеческих судеб, которые невозможно было замолчать, в длинном «закрутившемся» конце потерь советской литературы, о которых напомнил миру А. И. Солженицын в своем историческом письме 4-му Всесоюзному съезду советских писателей (16 мая 1967 года): «...их было более шестисот — ни в чем не виноватых писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе...».

За тысячи километров от лагерей, в которых «сидели» Мандельштам и Белинков, Синявский и Даниэль, и в которых продолжают «сидеть» Галансков и Амальрик, у себя в США я продолжаю решение задачи с сотнями неизвестных, начатое самиздатским автором, продолжаю его трагические вычисления, занимаюсь очередным, шестым, томом КЛЭ — от «П» до «С», точнее от слова «присказка» до издательства «Советская Россия».

Возглавляемая А. Сурковым редколлегия энциклопедии на тех из 1039-ти страниц тома, которые прямо или косвенно связаны с советской литературой, старается доказать недоказуемое: что так называемые отрицательные явления периода культа личности почти не коснулись отечественной литературы. Статья «Советская литература» (автор — Ю. Суровцев) сообщает, что 1-й Всесоюзный съезд писателей (1934 г.) представлял около 1 500 членов и кандидатов ССП, 2-ой (1954 г.) почти 3 700, а 4-ый (1967 г.) 6 608. Эта «кривая» должна, очевидно, вытравить из народной памяти те потери, что были вчера, убедить мир в том, что волюнтаристское фразеологическое новшество «посмертно реабилитирован» изжито действительностью, стало архаизмом.

Какая только словесная эквилибристика не подчинена этой цели. И все-таки 9 раз биографии писателей заканчивают фра-

БИБЛИОГРАФИЯ

зы-близнецы: «Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно». В этой трагической «девятке» — не только Александр Самойлович, один из крупнейших знатоков восточных языков в мире, и родоначальник уйгурской драматургии Абдулла Розыбакиев, но и Виктор Савин, коми советский поэт и драматург и одновременно глава Сыктывкарской Чёка: типичные судьбы в типичных обстоятельствах, революция отвергает и пожирает не только чужих, но и своих детей.

Дважды статьи о писателях заканчиваются лаконично: «Был незаконно репрессирован», даты их смерти свидетельствуют, однако, о том, что погибли они в застенке, а вот реабилитированы они или нет — неизвестно. Восьми писателям посчастливилось дожить до дня освобождения, хотя из КЛЭ явствует, что были они не в подконвойном мире, а в местах на самую малость отдаленных от центра, где труженики пера догоняли загнивающий Запад по производству лесоматериалов на душу населения. Вот что, например, узнает из энциклопедии читатель о советском писателе Андрее Семенове: «...Был незаконно репрессирован и годы 1938 - 53 провел на дальнем Севере (работал на золотодобыче, был рыбаком, лесорубом)», — ни дать, ни взять: сюжет для приключенческого фильма, какой уж там писатель, не писатель, а настоящий Тарзан советского Севера. Но браваурного тона КЛЭ не выдерживает и переходит на минор: «... 'Барельеф на скале', 1964 год (последняя книга Андрея Семенова — Э. Ш.), посвящена... теме восстановления ленинских норм советской демократии». Очевидно, плохи дела у «ленинских норм», коль восстанавливают их «реабилитированные» и добровольно продавшиеся Андрей Семенов и Борис Дьяков — автор книги «Повесть о пережитом», 1964 год (см. КЛЭ, т. 2).

В предыдущих томах КЛЭ часто повторялись слишком уж однозначные определения: «репрессирован», «реабилитирован». На смену им 6-ой том предлагает целый ряд словесных пассажей. Так, например, о белорусском писателе Язене Пуце говорится: «Пуца надолго был лишен возможности печататься...»; о русской писательнице Галине Серебряковой: «После 20-летнего перерыва, в 1957 году вернулась к литературной деятельности...» Развитие творчества советского еврейского писателя Якова Ри-

веса определяют только сухие даты: первая книга «Подполье» — 1924 год; документальный роман «Большевики» — 1965 год.

Во втором томе КЛЭ, в статье о Николае Гумилеве можно встретить фамилию человека, открыто взявшего себе в условиях советского антисемитизма еврейский псевдоним — Абрам Терц. 6-ой том КЛЭ замолчал эту жертву, на сей раз не сталинского, а послехрущевского произвола, замолчал Андрея Синявского. Страшная непоэтическая синекдоха от «П» до «С» (без Синявского) — крупница мартирологии советской литературы. Поскольку объём литературной энциклопедии будет увеличен до 9-ти томов, то список жертв на этом, к сожалению, не заканчивается.

Рабские советские штампы, перемешанные с фарисейством и холопством, захлестнули статью о русской советской литературе (автор — Д. Агарков). В ней мы читаем, что постановления ЦК ВКП(б) 1946—48 гг. «были направлены на то, чтобы поднять на более высокий уровень идеологическую работу в стране, еще раз указать на высокую миссию социалистического искусства», а чуть ниже: «в постановлении ЦК КПСС от 28 мая 1958 года было отмечено, что в постановлении ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» были допущены некоторые несправедливые и неоправданно резкие оценки творчества ряда талантливых композиторов, что было проявлением отрицательных черт, характерных для периода культа личности». Смотрит читатель на такие перлы демагогического искусства и невольно вопрошает: «А выполнен ли план по модернизации постановлений ЦК или нет, и что это за энциклопедия, собственно говоря, — музыкальная или литературная?»

Мымрецовские «тащить» и «непущать» в КЛЭ получили свою, пригодную для наших дней, окраску. «Тащат», но понемногу, разве что самую малость. Так, например, говоря об израильском поэте Александре Пэне, КЛЭ сообщает, что переводы его стихов были опубликованы в «Фолксштиме» в 1965 году, в номере 155. Но что такое «Фолксштиме» — энциклопедия не говорит, ибо тогда пришлось бы признаться в том, что в Польше в настоящее время, для 5-ти тысяч оставшихся там евреев,

БИБЛИОГРАФИЯ

издается на идиш газета, а в СССР на 2,5 миллиона их соплеменников таковой нет и в помине.

А вот в плане «не пущать» КЛЭ превозошла даже будочника Мымрецова, этого мрачного героя Глеба Успенского. Непонятно, почему в 6-ой том «не пущены» лауреат Нобелевской премии поэтесса Нелли Сакс (Швеция), автор только что изданной в Эстонии книги (на эстонском языке) «Эли. Мистерия страданий еврея», и замечательная английская поэтесса Кристина Россетти (1830—1894 год), которая ведь умерла еще до 1-го съезда РСДРП? Почему составители «забыли» известного американского поэта Джона Рансома и его соотечественника Милтона Рота, выдающегося литовского поэта Хенрикаса Радаускаса и эстонского Алексиса Раннита, русского поэта Ивана Савина?

Почему в статье об Эль-Регистане (автор — М. Смординская) ничего не сказано о том, что он — один из авторов гимна СССР, или упоминание гимна СССР подлежит теперь юрисдикции статьи 70 УК РСФСР? Почему в статье об известном французском писателе Жюле Ромене (автор — М. Толмачев) КЛЭ ни словом не обмолвилась о его враждебном отношении к СССР, в то время как «Юманите» называет его фашистом? Почему Райнер Мария Рильке превращен чуть ли не в сочувствующего коммунизму, хотя известно, что он сравнивал советскую систему с татарским игом? Почему об итальянском писателе Джанни Родари сообщено, что он коммунист, а о члене ЦК ПОРП, держиморде современной польской литературы Ежи Путраменте нет? И еще сотни таких «почему»...

Очередной том КЛЭ безо всяких сомнений оскорбляет национальные чувства своих польских читателей: в статье о немецком писателе Роберте Пруце (автор — Е. Рубинова) его родному городу дают название Штеттин (для тридцатимиллионного польского народа этого названия не существует, а есть признанное даже в ФРГ, но не в КЛЭ, исконно польское — Щецин).

Да уж Бог с ними, с поляками, но вот и с цензурой у КЛЭ нелады. Уж слишком в смешном виде представлен в томе Главлит, его непроходимая глупость. В статье «Игорь Северянин» (автор — Б. Смиренский) говорится: «В 1940 г. опубликовал... сти-

хи, в которых приветствовал вступление прибалтийских республик в «шестнадцатиреспубличный Союз».

Даже невооруженным глазом видно, что от неологизма «рес — публичный» веет не совсем литературными ассоциациями, но с 1940 года советская цензура никак не может разобраться в глубокой иронии русского поэта, открыто сравнившего государственное устройство Союза с домом под красным фонарем. В связи с этим особый интерес представляет история возникновения стихотворения о «шестнадцати-рес-публичном Союзе».

15 июня 1940 года советские войска оккупировали Эстонию. Через две недели Северянин был вызван в посольство СССР и принят последним советским полпредом в Эстонии Бочкаревым. В беседе, которая продолжалась около двух часов, полпред требовал от поэта поэмы о Сталине. Северянин отговаривался, как мог, но в конце концов был вынужден согласиться на написание стихотворения об СССР. У здания посольства Северянина «подстраховывал» его друг, поэт Алексис Раннит, который в случае ареста Северянина должен был об этом известить жену поэта. Северянина, однако, не арестовали, и через несколько дней он послал в ленинградскую «Красную новь» свой «Шестнадцатиреспубличный Союз» в полной уверенности, что цензор сразу обнаружит его издевку. Слава Богу! Цензура до сих пор слепа!

На естественный вопрос «Является ли статья об Игоре Северяnine его литературной реабилитацией?» мы должны ответить отрицательно. Еще в 1960 году «Библиотека поэта» объявила о выходе стихов И. Северянина. 12 лет прошло, а сборника нет и издание его в ближайшие годы, по-видимому, не предвидится. Такова же судьба «объявленного», но не изданного сборника стихов о Мандельштаме.

Быть может, эти грустные примеры, хоть в какой-то мере, внесут ясность в умы некоторых западных либералов, наивно полагающих, что «реабилитирован» однозначно с «издается», и не понимающих, что погибшие писатели реабилитированы как граждане, но не как литераторы.

Нет, не все плохо в 6-ом томе КЛЭ, есть в нем интересный и важный информационный материал. Надежда Мандельштам

БИБЛИОГРАФИЯ

в своем «Завещании» говорит, что после реабилитации ее мужа провинциальные газеты и журналы печатали иногда его стихи. Вполне понятно, что она не могла сопроводить свое «Завещание» библиографическим указателем. А статья «Простор» (автор — А. Герланц), посвященная органу СП Казахстана, указывает, что в этом журнале, издающемся с 1960 г., печатались неизвестные стихи О. Мандельштама. Ценная информация!

И очередное открытие. Недавно в Москве скончался один из самых крупных литературных эрудитов, блестящий русский литературовед, жертва «краснорубашечников» Ю. Г. Оксман, всецело посвятивший себя спасению всего того в русской литературе, что сопротивлялось всеильной коррозии соцреализма. Ни одна советская и, к сожалению, зарубежная газета не откликнулась на эту смерть. Некрологом Ю. Г. Оксману служит 6-ой том КЛЭ, в который включены его статьи о болгарском литературоведе Симеоне Русакиеве и о польском эссеисте Рене Сливовском.

Нужно также приветствовать КЛЭ за своеобразную революцию, проведенную ею в статье «Рондель» (автор — М. Гаспаров). В «Поэтическом словаре» (изд. 1966 г.) автор А. Квятковский как пример «Ронделя» дает типичный соцреалистический образчик Павла Тычины:

«Окончив труд, иду с завода,
Манифестацию встречать...»,

а КЛЭ все же решила включить как пример ронделя прекрасное стихотворение Вячеслава Иванова «С дарами роз...». Жаль только, что указана только первая буква имени поэта.

И последняя интересная находка: на страницах КЛЭ произошла «встреча» отца и сына. В статье «Советская литература» (автор — Ю. Суровцев) есть строки о том, что известный еврейский писатель П. Маркиш писал о Днепрострое, а статья о Сексте Проперции написана С. П. Маркишем — активным борцом за права евреев в СССР.

Э. Штейн

НЕРЖАВЕЮЩИЙ СОСУД

«Легким нержавеющей посудой» называет Лидия Алексеева свои «многие страницы» в стихотворении «Слушай, Жизнь! меня твою родную» (стр. 25). Поэт совершенно прав: лучшего названия не придумаешь для этого воздушного, но крепкого творчества, в котором ощущается и рост травы, и «летучесть», сквозной ветреной осени, «стройный шум» водопада с его «бурлящей музыкой», речка, что «льется муаром под лед», гроза, пахнущая арбузом, одуванчик, что «так умно неосторожен, так бесстрашно одинок», очаровательный «простуженный рыжик» и «молчанье той долины» из далекого прошлого, что не умирает в памяти, «как на ладони, в розовом соку светящаяся ягода малины»... Родство поэта с природой глубоко и нерасторжимо — «родство с косулей, крокусом и тлей, кровное со зверем, травное с землей».

Сборник полон чудесных пейзажей, удачных метафор. Ветер наделен живой личностью: он «как дети стремительно молод». Ночь «как голубое полотно», а «лунные холсты» льются на уснувшую землю. Весна у Алексеевой не поддельная — подлинная: «весна идет лиловым громом, плещет ливнем по лесным хоромам». Собственная же судьба — «смыкающаяся над головой», как вода...

Сборник проникнут невысказанной мыслью, тайным мотивом, что звери имеют норы, а птицы гнезда, и только Сыну Человеческому негде голову приклонить... Но жизнь требует, чтобы человек не сдавался, а жил и творил, хотя бы с мукой в сердце, даже распятый на кресте (хотя поэт нигде не уподобляет себя Христу), потому что истинная любовь всегда распинаема, ее подвиг смиренен и тих, но об этом в сборнике лишь намеки, их рассыпано много в книжке. В стихотворении «Рядом с весной» (стр. 30), в празднике которой поэт не принимает участия, — «капли щекочут лоб, словно и я жива». Заглавие тоже выразительно... Или о грозе: «сладость вдоха после долгих

Лидия Алексеева. Время разлук. Четвертый сборник стихотворений. Нью-Йорк. 1971.

БИБЛИОГРАФИЯ

слёз»... (стр. 42). О разлуке: «а глаза приучены щуриться без слёз» (37 стр.). Сколько затаенной боли в строках:

Говорили мудрые люди,
Будто время только — одно:
То, что было, и то, что будет,
В настоящее вплетено.

Значит, где-то еще вдвоем
Мы весенней рощей бредем...

Сколько света в первой листве!
Сколько белых фиалок в траве!

Хорошо, что памяти нет
О печали грядущих лет!

Жаль, что вторая строка хорошего стихотворения («Как смирю грызущую муку?») — «сколько слез этой ночью вылью» — режет слух. Но таких неудачных мест больше нет у Л. Алексеевой. А для целого сборника это очень немного!

Целомудреннее всего у поэта выражена любовь к России. В стихотворении, начинающемся словами «Холод, ветер... а у нас в Крыму-то» только очень внимательный читатель заметит, что, собственно, о разлуке с Россией не сказано ни слова.

«Утром птица на кресте поет» — одно из самых значительных стихотворений в книге. Это очень верно отметила Елена Васильева в своей прекрасной рецензии о поэзии Лидии Алексеевой («Птица на кресте». «Русская Мысль», № 2860).

Прикасясь к чужой боли, поэт выходит из своей замкнутости:

Цвета серого железа
Пухлый шрам среди ствола.
Боль от старого пореза
Посочилась и прошла:
Но тверды и кругло-грубы
Навсегда его края, —

И сочувственные губы
К ним прикладываю я.

В стихотворении «Говоришь — толпа. Но ведь это люди» — жалость к одинокому, «ненужному» человеку. О пьяницах (стр. 62):

Им обоим нет дороги к дому
И никто им на земле не рад.

Поэзия Л. Алексеевой трагична, потому что главная ее тема — любовь, та, которая не ищет утешений, но остается верной до конца. В стихах «Уходят лица, имена и даты», вторая строфа:

Но я молю, забыв о расстоянье,
Забыв о тысячах ушедших дней, —
До моего последнего дыханья
Не уходи из памяти моей!

глубоко волнует своей искренностью.

Но поэт знает не только о муках любви, знает и о торжестве ее. Семя должно истлеть в земле, «чтоб созрели для полета новой жизни семена» («Одуванчик», стр. 12). Таков закон Бытия. Человек должен смириться, принять боль, как принимает ее терпеливо вся природа. «Без дождя грибы не растут, как стихи без слёз», полушутливо замечает поэт. Однако он верит, что за чертой, где мы сойдемся все, не будет забыт и подвиг ясения (стр. 14): «мой друг с покорной простотой, тепло отдавший людям, теперь твой дух за той чертой, где все мы вместе будем». Вдумаемся в слово все, выделенное мной (О. М.). Эта щедрость, призыв к блаженству всего живущего в мире, есть щедрость любви, не требующей ответа или награды, любви, раздающей свои сокровища равно достойным и недостойным. Это огонь, сжигающий всё тленное; лишь он дает душе отрешенность, развязывает земные путы.

...Наш корабль прилег устало на волну
И пошел со всей поклажей ко дну.

БИБЛИОГРАФИЯ

С нами ж дивные свершались чудеса —
Нас небесные спасали пояса, —

И — ненужные ни другу, ни врагу —
Вот, стоим на безымянном берегу.

Все заботы, сожаления и страх
Мы сжигаем на спасительных кострах.

Наша жизнь еще пустынна и вольна,
Наши где-то утонули имена.

Так чудесна неприютность и легка,
Как несущиеся в небе облака.

Только нас, увы, заметили с земли
И отправили за нами корабли.

Снова вьется муравьиная стезя,
Снова в небо неоглядное нельзя, —

И лишь память потаенная остра
О блаженной невесомости костра.

Я слышала, что стихи Лидии Алексеевой начинают проникать в Россию. Думаю, это неизбежно должно случиться, как неизбежно после зимы наступает весна. Такая поэзия — не тепличное растение, доступное лишь немногим. А истинная любовь всегда рождает отклик, особенно в сердцах, переживших разлуку не только с близкими, но и со всем, что делает жизнь осмысленной и прекрасной.

О. Можайская

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Когда человек в жизни встречается с непонятым, с необъяснимым, его почти всегда одолевает чувство паники. Первой и основной заботой становится стремление устранить непонятое. Это можно делать по-разному: можно создать новую религию, литературную теорию или научную систему, но цель остается всё той же — рационализация иррационального. Конечно, бывали времена, когда люди были не только способны на уничтожение иррационального, но и на признание непонятого как реально существующего, или, во всяком случае, как имеющего право реально существовать. Таким временем был (и есть) мир первобытного человека, таким временем было раннее средневековье, таким временем есть и сейчас, в значительной степени, современный западный мир.

Современную же Россию, во всяком случае, ее официальную часть, готовой к встрече с иррациональным считать никак нельзя. Цель возглавителей советского государства — переменить мир, страну и человека. Средство для этого — псевдонаучная система взглядов на все явления мира, стремящаяся научить человека познать все закономерности этих явлений и, подчиняясь им, подчинить себе мир. Конечно, для «иногo», непонятого, иррационального нет места в «научной» системе. Тут нечего вычислять, считать, мерить. Тут единица равна бесконечности (в «научной» же системе — бесконечность равна единице, что совсем не то же самое!).

И всё же, несмотря на всю официальную марксистско-ленинскую научность, есть область советской жизни, где вопрос встречи с иррациональным рассматривается. Это «заколдованное место», недостижимое для псевдонаучных догматов и их защитников — своеобразный литературный мирок научной фантастики. Фантастика, и к тому же «научная»? — может удивиться неискушенный в этом вопросе человек. Но дело в том, что сама ее научность отнюдь не соприкасается с той научностью,

А. и Б. Стругацкие. Улитка на склоне. Сказка о тройке. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1972.

БИБЛИОГРАФИЯ

о которой кричат громкоговорители, газеты, экраны. Основной источник вдохновения научной фантастики — космос, который, хотя в нем и не обнаружили космонавты порхающих меж облаков пернатых ангелов, остается как-то уж очень неприлично иррациональным: он не то какой-то скрюченный, не то бесконечный, не то конечный (что еще непонятнее). В космосе как-то неловко праздновать День милиционера, открывать Институт кукурузоведения или посещать Высшую партийную школу. В нем мало к чему пригодны цитаты «основоположников»...

Но научная фантастика позволяет не только перелетать через «железный занавес», она нас также уносит в те времена, когда его еще не было, или когда его уже нет, или когда его не было и не будет, и никому это почему-то не кажется незаконным. Научная фантастика позволяет даже — чудо из чудес — встретиться с миром вполне нашим, чтоб он очень не нравился, и вполне чужим, чтоб его «научно» нельзя было определить в качестве нашего.

А. и Б. Стругацкие — мастера в создании именно таких неприглядных, но очень родственных нам миров.

В их книге, вышедшей в этом году в издательстве «Посев», мы встречаемся с двумя такими мирами-обществами. Правда, второй из них, мир повести «Сказка о тройке» нельзя признать полноценным — уж больно он схож, даже в мелочах, с хорошо известным земным государством и даже с определенной его средой: со своеобразным мирком научно-исследовательских институтов, с которыми авторы (во всяком случае, один из них — астроном) хорошо знакомы.

Обстановка следующая: в институте НИИЧАВО, затерянном в дебрях сказочного севера России, каждый этаж своеобразный сказочный мир. И вот в этом институте произошел скандал: группа беспринципных его сотрудников захватила власть на одном из верхних этажей и создала на нем Тройку по Рационализации и Утилизации Необъясненных Явлений. Этого, конечно, не может допустить Дирекция Института, и на бунтующий этаж посылаются разведчиками молодые научные сотрудники.

Тройка, в совершенстве владея административными прие-

мами и подчинив себе административный аппарат этажа, усиленно рационализирует всё ей непонятное (а такого в стране чудес очень много), и научным сотрудникам, например, с трудом удастся спасти от нее Клопа Говоруна или симпатичного Птеродактиля. В конце концов само начальство Института прогоняет зазнавшихся бюрократов.

Повесть написана увлекательно, с большим юмором. Сатира порой очень тонкая и яркая: запоминается, например, «червяк, самонадевающийся на крючок путем перевоспитания», но несколько мешает специфика терминологии — жаргон научно-исследовательских институтов. Не лишена повесть и идейной стороны: в этом отношении основная мысль та, что человек должен быть готов к встрече с неизвестным, не должен замыкать сам себя в ложные системы и установки. Второй мотив этой повести — отрицание науки как самоцели, прогресса как неизбежного шествия к потребительскому обществу: для человека важны не столько законы науки и общества, сколько здоровые моральные и психические качества собственной личности, которые и будут определять направление его научной и общественной деятельности. Эта последняя тема — основная тема второго произведения Стругацких: повести «Улитка на склоне».

«Улитка на склоне» — произведение, несомненно, гораздо глубже «Сказки о тройке». В свое время (см. «Грани» №№ 78—79) я уже кое-что о нем написал. С тех пор всё более и более подтверждается, что эта повесть (самое удачное, что до сих пор написали ее авторы) не может рассматриваться как увлекательное научно-фантастическое произведение, — оно принадлежит большой русской литературе.

«Улитка на склоне» — образ. Исключительно удачный, поэтический образ встречи человека с самим собой, со своей жизнью, полной непонятных и противоречивых вещей, со своим обществом, отрезанным от подлинной жизни, стремящимся ее познать, а когда это не выходит — уничтожить эту жизнь, «искоренить» ее.

Центральный герой повести — Перец, бьющийся в непонятном для него, полусумасшедшем обществе, напоминающий героя

БИБЛИОГРАФИЯ

романа Кафки «Замок». Он стоит перед таинственным «лесом», чарующим и пугающим, недоступным, но до боли близким человеку. Эта повесть заставляет думать, заставляет себя перечитывать. Если, даст Бог, братья-писатели продолжат свое творчество именно в этом, столь увлекательном для них (судя по их интервью в «Литературной газете») направлении, от них можно ожидать чудес. Но удастся ли им, посмеют ли они еще раз сесть на краю пропасти и взглянуть на лес, на «бесформенную маску, скрывающую лицо, которого никто еще никогда не видел» (стр. 5)?

Издательство «Посев» сделало большое дело, издав «Улитку на склоне». Но почему же оно само себе так повредило небрежным оформлением книги? Рисунок на обложке явно доказывает, что художник произведения Стругацких не читал. Безвкусные краски и улитка, катящаяся под гору; а в повести нет ни улитки, ни горы, никакой безвкусицы.

Оба произведения просто перепечатаны из советских журналов, без малейшего предисловия или введения. Как минимум, следовало бы указать, что «Сказка о тройке» — продолжение книги «Понедельник начинается в субботу» и ознакомить читателя с институтом НИИЧАВО, с его сотрудниками, появляющимися и в «Сказке о тройке»: зная, кто такой Выбегалло, что такое лифт, Черный Ящик или отдел Линейного Счастья, гораздо легче «разобраться в обстановке». Очень прискормно, что в данном случае издательство «Посев» так мало отличилось от различных зарубежных «псевдоиздательств».

Д. Руднев

ВАЯНИЕ В СТИХАХ

В «зарезанной» в Советском Союзе книге «Сдача и гибель советского интеллигента. Ю. Олеша» ее автор, известный литературовед А. Белинков, писал: «Художник ищет соответствия и единства его (мира — В. С.) частей. Разорванные части бытия

Миртала КАРДИНАЛОВСКАЯ. Стихи. Бостон. 1972.

он связывает сходством. Слагаемые, лежащие далеко друг от друга, он соединяет линиями». Миртала Кардиналовская, известный русский скульптор (в США), выступившая сейчас с первой своей книгой «Стихи», как каждый настоящий художник, стремится соединить воедино всю сложную гамму наскакивающих друг на друга окружающих нас ассоциаций, линий мысли, зовущих вперёд, ко всем земным высотам и далям. Она сама говорит об этом в стихотворении «Прямая линия...», посвященном Р. Якобсону:

В рисунке жизни настоящей,
порывов и падений полной,
несется линий вихрь звенящий
и полыхает пламя молний.

«Пламя молний» поэзии покорило ваятелю-поэту. Еще до недавних дней Кардиналовская находила гармонию в скульптуре, теперь она нашла ее и в поэзии. Сборник «Стихи» поясняет и углубляет лучшие ее скульптурные работы: «К Свету», «Собор Мира», «Только один мост», снискавшие автору всеамериканскую славу.

Стихи поэта не поддаются традиционным измерениям, в них отсутствует ненужная византийская орнаментальность, аляповатая палехско-холопская лубочность, всё в них предельно сжато, они не описывают жизнь, а заставляют думать. Поэтесса умственного склада и аполлонического творческого почерка, Кардиналовская создает стихи, которые лучатся всеми цветами мысли, подобно капелькам росы на призме большого искусства. Такие строки, как:

Ответьте мне, моря,
кто я?
где я?
Мне искры на воде:
во всём... везде...

(«Скажи, моя земля...»)

или о том,

БИБЛИОГРАФИЯ

что смех бывает плачем,
что бег вперёд — возврат,
и в жизни всё иначе,
чем отражает взгляд

(«Зачем ему глаза?...»),

по праву могут быть отнесены к лучшим образцам философской лирики.

Оригинальность мысли поэта не назойлива, она неожиданна и красива:

Заглянуть бы мне за неба край —
да небо где кончается?
Искала бы я дорогу в рай —
но как она называется?..

(«Я б измерила...»).

Своими философскими стихами поэтесса жаждет объединить наш разорванный мир, приблизить его к конечной цели — к Свету, символу мироздания. И не беда, что в книге нет венка сонетов — одного из самых сложных видов поэтического искусства; поэтесса, очевидно, и не ставила перед собой такой цели, но она добилась не меньшего: ее стихи — это венок мыслей.

Поэтическое кредо поэтессы выражено предельно чётко:

Мне нужно, чтоб слово
спокойно светило,
без лишних прикрас
и пустых отступлений
в далёкую высь
открывало ступени

(«Мне нужно...»).

Недаром сборник стихов поэта и начинается с репродукции её скульптуры: «К Свету». Думается мне, что книга только бы выиграла, если бы сборник так и назвать: «К Свету» или

«Будущему»; ведь автор в стихотворении «Дни бросают тени» говорит:

Знаю, мой потомок,
твой удел зависит
от моих побед,
радостей и бед,
как я вышью бисер
дней моих и лет.

Любовью к Человеку, к Земле его родившей, проникнуты стихи поэтессы; любовь эта, однако, не патетическая и декларативная, она искренна и чувствуется в каждой строчке:

Землю надо беречь —
она у нас одна,
и только любви волна
потушит тебя, война!

(«Выжжена желтая рожь»).

Вучетич своим творчеством призывает «перековать мечи на орала», а Кардиналовская — перековать ненависть на узы всеобщего братства.

Из стихотворений поэтессы, посвященных природе, особо выделяется «Осин осенних серый плач», которое, бесспорно, могло бы служить подписью к любой «осенней» картине передвижников:

Осин осенних серый плач,
сплелись ветвей сухие пальцы
и ткут бесшумно над землёй
туман на паутинных пальцах.

Шуршит тревожно под ногой
отживших листьев желтый ворох,
но, мокрым небом отражен,
упал, едва поднявшись, шорох.

БИБЛИОГРАФИЯ

Есть в сборнике недоработки типа «дождь тоскливый», рифма «ночь — не морочь» не блещет новизной и красотой, а «Я б измерила шар земной» уж очень ассоциируется с В. Маяковским. Книга «Стихи» не лишена, к сожалению, и полиграфических огрех.

Это, однако, мелкие придирки, которые ни в коей мере не могут умалить аромата и свежести первой книги Мирталы Кардиналовской, занявшей своими «Стихами» достойное место на поэтическом парнасе русского зарубежья.

В. Сладковский

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Бердяевъ, Николай. О рабствѣ и свободѣ чловѣка. (Опытъ персоналистической философіи). YMCA-Press, Paris, 1972. Стр. 222.

Горький, Максим. Несвоевременные мысли. Статьи 1917—1918 гг. Составление, введение и примечания Г. Ермолаева. Edition de la Seine. Paris, 1971. Стр. 304.

Каратеев, М. Арабески истории. Очерки. Буэнос Айрес, 1971. Стр. 222.

Краснов, А. Строматы. Изд. «Посев», Франкфурт/М., 1972. Стр. 156.

Мандельштам, Надежда. Вторая книга. YMCA-PRESS, Paris, 1972. Стр. 712.

Новый колокол. Литературно-публицистический сборник. Лондон, 1972. Стр. 480.

Посев. Сборник статей за 1970 г. (Карманный формат). Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1972. Стр. 286.

Редлих, Роман. Советское общество. (Очерки большевизмоведения. Книга 2). Изд. «Посев», Франкфурт/М., Стр. 240.

Русланов, И. Молодежь в русской истории. Изд. «Посев», Франкфурт/М., 1972. Стр. 142.

Сабурова, Ирина. О нас. Мюнхен, 1972. Стр. 231.

Bossle, Lothar. Demokratie ohne Alternative. Seewald Verlag, Stuttgart-Degerloch, 1972. SS. 51.

Gerstenmaier, Cornelia I. Wladimir Bukowskij. Der unbequeme Zeuge. Eine Dokumentation. Seewald Verlag, Stuttgart-Degerloch, 1972. SS. 145+4.

Lewytzkyj, Borys. Politische Opposition in der Sowjetunion 1960—1972. Analyse und Dokumentation. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1972. SS. 337.

Supek, Rudi. Soziologie und Sozialismus. Probleme und Perspektiven. Verlag Rombach, Freiburg, 1970. SS. 246.

Thomson, Boris. The Premature Revolution. Russian Literature and Society 1917—1946. Wiedenfeld and Nicolson, London, 1972. PP. 325.

Wegener, Edward. Moskaus Offensive zur See. Deutsches Marine-Institut. MOV-Verlag, Bonn-Bad Godesberg, 1972. SS. 127.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

в № 83 журнала

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
56	3 и 2 снизу	Аверечкин	Аверичкин
73	3 сверху	Аверечкину	Аверичкину
75	14 сверху	Анахашиев	Атакашиев
163	5 снизу	естественного	родового

в № 84 журнала

67	9 сверху	Ходженков	Ханженков
95	11 снизу	Л. Бродским	Л. Бородиным

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Нашиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

**Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim,
Flurscheideweg 15**

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ «Г Р А Н И Й»

Наша редакция весьма заинтересована в получении отзывов иностранной прессы как о самих «Г р а н я х», так и об отдельных публикуемых в них материалах. Пользоваться услугами специальных бюро, поставляющих вырезки из печати, очень трудно по материальным обстоятельствам. Поэтому мы разрешаем себе обратиться ко всем нашим читателям и подписчикам со следующей просьбой.

При чтении местной иностранной прессы (газет, журналов) делать для нас вырезки, отмечая на каждой вырезке дату и название печатного органа, и пересылать в адрес редакции:

Grani c/o Possev-Verlag,
Sossenheim, 623 Frankfurt/M., Flurscheideweg 15.

Можно делать еще проще, — отчеркивая статьи, посылать газеты или журналы целиком.

Исполнением этой просьбы каждый оказал бы «Г р а н я м» большую услугу.

С лучшими пожеланиями

Редакция журнала «Г р а н и»

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Необходимо повысить тираж нашего журнала. Наш журнал — трибуна для писателей, не могущих печататься в России. Наш журнал знакомит Запад с получаемыми нами из России материалами.

Мы обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой — расширить круг подписчиков журнала среди Ваших друзей и знакомых. Мы очень просим присылать редакции адреса тех лиц, к кому мы могли бы обратиться с предложением о подписке на наш журнал.

С искренним приветом

Редакция журнала «Г р а н и»

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране. При этом мы, естественно, не пытаемся заручиться формальным разрешением автора на такие публикации.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev - Verlag,
623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

Содержание номеров журнала «Грани» помещено:

с № 1 по № 58 в № 59

с № 52 по № 74 в № 74

с № 75 по № 78 в № 78

Новый каталог вышедших номеров высылается бесплатно по требованию.

В. Максимов



История жизни большой рабочей семьи Лашковых в период от революции 1917 г. и до наших дней — художественно достоверное отражение будней трудовой России, простых русских людей, задавленных и обманутых властью и с мучительным недоумением задающих себе вопрос: «Что же случилось с нами? Что?»

Роман проникнут болью за людей, искалеченных режимом, и верой в могучие жизненные силы русского народа, в его будущее.

Книга большого формата, 512 стр., твердый переплет с золотым тиснением. Суперобложка работы художника Н. И. Николенко.

Цена 28.80 н. м.

В США и Канаде — 9.60 ам. дол.

**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 2-го ИЗДАНИЯ 1909 г.
Ввиду большого спроса, выпущено 2-ое переиздание**

ВЕХИ

Сборник статей о русской интеллигенции
Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского,
П. Б. Струве, С. Л. Франка.

Цена — 15,50 н. м. В США и Канаде — 5,20 дол.

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку)

в Германии и во всех других странах,
кроме США и Канады:

При подписке непосредственно из издательства — 30,— н. м.

При подписке через представителей
и книжные магазины — 36,— н. м.

Цена в розничной продаже — 9,— н. м.
(или эквивалент 9,— н. м.).

В США и Канаде:

При подписке непосредственно из издательства
— 10,— ам. дол. При подписке через представителей
и книжные магазины — 12,— ам. дол.

Цена в розничной продаже — 3,— ам. дол.

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-623 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на
Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/M.

Из Германии удобнее переводить деньги на
Konto 334 61, Postscheckamt Frankfurt/Main.